

Игорь Малишевский
Год цветенья



Игорь Александрович Малишевский

Год цветенья

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=23685873

ISBN 9785448398834

Аннотация

Андрей Чарский, молодой успешный преподаватель университета, узнает о трагической смерти своего младшего брата, с которым давно не виделся. Пытаясь выяснить обстоятельства последних дней погибшего и восстановить цепочку утраченных событий, Андрей постепенно все больше меняется и приходит к очень неожиданным выводам. Филологический роман о цепи бесконечных утрат.

Содержание

Глава 1	5
Глава 2	18
Глава 3	33
Глава 4	51
Глава 5	68
Глава 6	82
Глава 7	111
Конец ознакомительного фрагмента.	115

Год цветенья

**Игорь Александрович
Малишевский**

Художник Дарья Валерьевна Максимова

© Игорь Александрович Малишевский, 2017

ISBN 978-5-4483-9883-4

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Глава 1

С переворотами страниц, в маргариточном ритме, мимо двух покинутых качелей в два изгиба и скособоченного симметричного креста, мимо остановок «Книжный магазин Оцелот», «Гидроэлектростанция», «Ритуальный институт теократической анархии», с зародышами неразвитых альтернатив, под звуки потерянного рая, в утренний час первого сентября я приближался на своей «Хонде» к школе.

Напротив школы я припарковался и, короткими резкими изворотами перебрасывая телефон между пальцами, расслабился и призадумался. Хорошо, что обаятельный бабник Воронский со своей окончательной Ксюшей подарил ключи – разомкнуть: слегка усыпанную листочками дорожку под еще летними деревьями, украшенными редкой желтизной, маленький домик с открытой верандой, блеск воды за пристанями и открывающийся среди деревьев песчаный спуск к широкому, уже не прегражденному ничем пространству реки.

Я глядел сквозь стекло на теплую улицу в прозрачных, облачных солнечных лучах и представлял: там эта однушка с какой-то подсобной комнатой и общими туалетом и ванной обшарпанной – как подумаешь, что там утром и вечером четыре человека вытворяют, так вздрогнешь – теснота, стол для уроков, зажали его два шкафа. Особенно вообра-

жаю раскладушку, со скрипучими пружинами, с, например, оранжевой в розовый цветочек тугой грубой для рук тканью. Моя юная любовница, согнув узкую спину, вытаскивает данный агрегат на середину комнаты, разворачивает с ржавыми щелчками суставчатую металлическую гусеницу, а потом на ней пытается ненадежным сном забыться среди чужого дыхания. Про несъедобные котлеты и кислый чай с дешевыми конфетками я уж не говорю. А еще тоскливое давление взрослых, понуждающих учиться.

Тут же: мягкая с легкой спортивностью машина, просторные белые сиденья, любая музыка, теплая чистая река с удобной для отдыха песчаной косой посередине и без цепляющихся к ногам, многочисленно ползучих хтонических водорослей, вкусный ужин на обратном пути, моя чистая, в отличие от запрыщавевших Антошек и Петек, кожа, мое сильное большое тело, вкрадчивые понимающие пальцы и губы, свобода, болтовня о чем угодно. Думаю, достаточно причин, хотя, ни одна из них ничего не значит и ничего, в конце концов, не доказывает. Кроме разве что того, что, кажется, мы помещены в весьма комфортный мир – особенно если вспомнить, что я лишь вчера возвратился из маленького и жаркого города посреди степи, в котором угас, умер мой бедный брат.

Жаль, что я не сумел вызволить его переписку. Я остановил задумчивые развороты телефона и отыскал торопливо то небольшое, что удалось мне сохранить. Я прочел наугад два:

«Нам обещали дождь, и мы боялись дождя, и я не был

уверен, что ты выйдешь, спустишься из незнакомого, загадочного подъезда, а телефона не было, зато болтал по телефону перед подъездом таксист. Я сказал, что я вызвал такси, но надо подождать человека – того самого человека, который появится – должен же появиться – из подъезда. А за день до того, за два дня я понимал, что должна тонкая, натянутая нить в наших сообщениях как-то разорваться, что должны разрешиться намеки и комплименты, упасть легкий покров осторожности, приближение обходительными кругами внезапно перескочить в роковой рывок. Я работал с утра неожиданно для себя и думал, что работаю, может быть, будучи влюбленным – и уже некуда было отступить, надо было говорить, признаваться. После минутного молчания ты сказала: „А давай“. Наша огромная переписка теперь мной утеряна, но текст сохранит самое важное и, быть может, частично воспроизведет твой голос, твои слова, ***».

«Упущено мною множество значащих деталей из воссоздаваемого сложного узора – например, как мелькала в окнах развернувшегося автобуса березовая аллея, как мы обсуждали, стоя у задней двери, возждение автомобилей („Я блондин, мне можно ездить на автомате“), как в кафе ты неожиданно спокойно восприняла идею прогулки по заброшенному парку – многое же говорит твоя радостная смелость о прокламированной тобою „обычности“, в маску которой ты старательно любишь наряжаться! – а еще про

*наклон твоей головы, не поддающийся моим скудным словам, про положенные на стол руки, про то, что я впервые заметил легкий пушок на твоей верхней губе, впоследствии оказавшийся таким очаровательно колючим, а впрочем, может быть, я смешиваю воспоминание о твоём взгляде за столом с воспоминанием о какой-то из твоих фотографий – на них сохранялась ранее еще живая ***».*

Увы, брата больше нет. Та, чье имя я замалчиваю старательно, чьим именем заканчивался каждый из сбереженных мной обломочков, в этом, конечно, виновата. Я посмотрел на часы, вышел из машины, достал с заднего сиденья букет попафосней. Перешел улицу и зашел в ворота: перед школой уже беспорядочная громкая толчея, линейка, гремела музыка какая-то, суетятся, куда ни глянь, жирные мамы с волосами цвета вареного желтка или стального отлива, с лицами, как говорит мой приятель Воронский, like a typical horse. Под и между мамами кишат сопливые дети, таранят портфелями и цветами. Эти два рода образовывали тугую подвижную массу, на периферии курили, кучковались белорубашечные подростки и расфуфыренные барышни. Сквозь шум и вспышки фотоаппаратов, сквозь неподатливое сплетение тел, так нежно покрытое солнечными лучами, легким, воздушным чередованием света и тени, продрался я к крыльцу, здоровался, поздравлял, вручил цветы, выяснил, что чуть не опоздал к собственному выступлению, с особенно деловым видом посмотрел на свои золотые часы.

Через двадцать пять минут скудоумных бесед со старухами директриса объявила в микрофон:

– Сейчас выступает кандидат наук, доцент Чарский Андрей Викторович!

Неспешно я взошел на середину крыльца, элегантно и небрежно поправил пиджак и произнес в микрофон речь. Была заготовленная: «Ну, здравствуйте, дорогие мелкие шкеты, голодранцы и голодранки и гнусные ваши предки. Поздравляю вас с очередным годом боли и осквернения ваших измученных тел. Сегодня я вам поведаю историю, вернее, анекдотец про наш университет, после которого вы уж точно ни за что не захотите туда поступить, а школа вам покажется райским царством вольности и счастья, не обремененного тяжелой необходимостью взросления и придания вашим мордам соответствующей серьезности, с которой, скрестив руки, бегают каждый перерыв в столовую сожрать кусок непосахаренного лимона скучная университетская дева. Вы же еще очень молоды и не занырнули с головой в черное хлюпающее вязкое болото. Помните, что нет ничего ценнее и лучше во всем мире, чем хрупкие, возвышенные, робкие и непонятые подростки. Не бойтесь суровых преподав, расшатывайте уроки тотальной анархией и неожиданным приколлом...» – примерно такое, что по некоторым причинам я, конечно, не сказал, а хотелось.

После речи меня с аплодисментами отпустили, поскольку я предупредил старух заблаговременно, что спешу в универ-

ситет по делам. Я действительно поспешил обратно к машине, взял легкий и бледный второй букет и, затворяя дверь, уже прижимал телефон плечом к уху:

– Алло. Ты где? Выходишь? Выбирайся к правой изгороди.

Я быстро ее отыскал, она уже протиснулась из толпы в задние ряды. В черной до коленей юбке, в белой шелковистой блузке, с висящей на тоненьких предплечьях сумочкой – сразу узнал, хотя наряд новый. Пушистый прищур ресниц на круглом личике.

– Привет, Андрей, – она меня почти вплотную увидела, всматриваясь внимательно и медленно болтая сумкой ниже юбки, на вытянутых ремешках. И голову немного наклонила, мой головастик с трогательно большой головой и большим лбом.

Я протянул руку к ее лицу:

– Вот это, – показал ей, – ключ от моего «Аккорда». А вот это – ключ от дачного домика, который нам с тобой на сегодня подарил Костя Воронский.

– Слушай, у нас будут после всего этого уроки, классуха, – я зажмуриваюсь от мелодии ее негромкой речи, – подвалила и сказала.

– А вот это тебе, моя Харита, цветы, поздравляю с переходом в десятый класс. Ты купальник взяла?

– Да, кинула в сумку, маман не спалила.

– В таком случае я беру тебя под локоток и пошли, Ана-

белла, на речной бережок.

– Слушай, я вот думала, почему у тебя вконтакте ни одной фотки, а вместо них какие-то гейские картинки из анимушек с ангельскими парнями?

– Это потому, что я люблю маскироваться, не показывать лица, быть призрачной тенью, моя Тамара.

– А что мы там будем делать, на даче?

– Отражаться в воде, купаться и трахаться, Лукреция, купаться и трахаться, – это мы говорили, уже покинув гостеприимный квадрат перед школой и переходя тихую улочку.

– Хе, трахаться! Ты же такой умный, интеллектуальный, Андрей, прямо потусторонний.

– Когда держит тебя за локоток, потусторонний Андрей понимает, что любой резон, рифма и разум бледнеют перед одним твоим поцелуем.

Я садился за руль и заметил прозрачную быструю тень ее тела на соседнем кресле, когда она забралась и тихо упала внутрь автомобиля, шлепнув сумочкой по голым коленям.

– А это что у тебя за миленькие цветочки, кстати? – я подмигнул, заводя машину, пока она перекидывала мой букет на его изначальное место, и с ним еще один крошечный. Мне удивительно приятно было созерцать, как она повернулась, прижав одну руку к коже сиденья, другую вытянула будто в броске, закрывая подбородок, и ткань блузки натягивалась и переливалась на тоненьком плечике.

– Тошка мне подарил. По-моему, он нас с тобой видел,

мне кажется.

– Это вон что ли очкарик-переросток жирный, Изабель? Который глазеет, как покорная собачка, из-за забора на нас?

– Наверное, – она ответила и оттолкнула сиденье как можно дальше, чтобы вытянуть ножки. – Прикинь, он мне еще открытку со стихами сунул. – От мелькания над сумочкой ее предплечий я вообразил, как неуместно на одном из них смотрелись бы легкие бледные шрамики. Она вытащила открытку с добрыми котятками и с усмешечкой поднесла к лицу.

– А, так он же юный поэт, помню, как же. Он тебе и раньше стихата сочинял.

– Да-да, помню, че-то типа такого:

В окно запахло серою весной.

Дождем дробится лед, и мне ль тебя молить?

Как ни мечтал я вечно быть с тобою,

А не могу тобою больше жить.

Не с тобою, а именно тобою жить, я прямо помню, Андрей!

– А недурная аллитерация «дождем дробится лед, и мне ль тебя молить», – заметил я. – Ну-ка дай сюда открыточку.

– Да держи. Ты что, это читать собрался? – расхохоталась она. – Это ж какие-то вообще накуренные рифмочки.

Я развернул неспешно открытку и, разбирая подростковый мельчайший (вероятно, намеренно) почерк, прочитал с пафосом и надрывом вслух этот отчаянный зов:

Марго, Марго! Кровавой болью
Душа полна, душа больна.
Кровавой пеною по взморью
Бежит волна с ночного дна!

Марго! Сквозь ночь кричу, рыдая,
Взметенный алою волной!
Как вопль отверженных от рая
Звучит во мгле ночной прибой,

Ревет, взрывается на скалы,
И гроздя пенятся на них!
Марго... Марго! Когда б ты знала,
Какой порыв у ног твоих.

Ты задержалась, посмотрела —
И отвернулась второпях.
И в самом деле, разве дело —
Писать об алчущих страстях?

Последнее четверостишие я произнес с довольно унылой
язвительностью, после чего мы поехали.

– Как рифмовать и размер соблюдать, твой гений вроде
даже знает, – сказал я, пока она кидала открытку назад. –
Слушай, походу, он в тебя всерьез влюблен. Ты не хотела бы
его осчастливить? Обнять там, поцеловать и так далее, а,
Грётхен? Открой бардачок, кстати.

– Фи! – потянулась расслабленно она, разглядывая тополя и старинные трехэтажные здания, мелькавшие за окнами, потом ткнула бардачок коленом, но он отозвался лишь глухим стуком, внутренней полнотой. Тогда наклонилась вперед и отворила его. – Моя любимая шоколадка! Она у тебя тут не растаяла? И минералочка. Слушай, Дрюш, ты меня сладким закармливаешь, слышишь, я стану жирная-жирная, – она трясла меня за плечо, а зубами открывала верх зеленой обертки, между коленями зажала бутылку с водой, в которой прозрачно отражалась чернота ее юбки и отблеск бегущей мимо нас улицы.

– Знаешь, что я тебе скажу, Марианна?

– М-м?

– А вот что: ты не потолстеешь. Во-первых, от плавания худеют только, а во-вторых, наука нам говорит, что та самая физкультура, которой мы вместе заниматься собираемся – ты понимаешь – эта физкультура калорий сжигает больше любой другой. Я тебе уж устрою – потолстеть, Северина ты эдакая.

Хрустя радостно-задумчиво шоколадкой, она:

– Ты такой большой, а голос такой мягкий, артистичный прямо. По-моему, ты все-таки немножко гейчик. Такой сладюсенький чуть-чуть гейчик, чуть-чуть.

– И она-то говорит, моя Амелия, что я ей гейчик! – Я аж по рулю наигранно стукнул.

– Ну совсем капелюшечку, Дрюш! – хохотала она.

– Даешь ты, Марго-Марго, стране угля, – покачал я со смехом головой. – Что у тебя там в школке твоей? Преподы и матушка пилят?

– Ах, она же волнуется за мои оценки, – пыталась болтать ногами, открывая минеральную воду. У светофора мы остановились, она пила из бутылки, вытягивая тоненькую длинную шейку, напрягая горло и прикрывая пушисто глаза. Очень смешно пила и утирала губы ладошкой. – А она же не знает, что ты классный, а не просто тупой препода-репетитор! Думает, что мы с Федечкой на свиданки бегаем, с этим противным задротом. Беее! Меня тошнит, как представляю, как этот или Тошка на меня дергают свои палки или меня трахают, ни за какие шуры-муры не соглашусь. А препода – уроды. Училка по русскому, как всегда, под кайфом, под черным каким-то. Историчка, блин, дура, орет, опять выступала, и меня она не переваривает. По физре у нас опять этот лысый старпер озабоченный, а еще какой-то старпер из твоего универа на спецкурс придет, убитый вообще мужичок в рубашечке из 70-х, по-моему. В общем, попец полный.

Долго посасывая куски шоколада во рту и затем их глотая грациозной судорогой лебединого горла, она потянулась к музыке, включила, найдя на флешке, свою любимую мяукающую русскую поп-певицу и развалилась в кресле.

– Слушай, а вы вот наукой там занимаетесь, – мечтательно заметила она. – И даже твой Воронский. А он про что пишет?

– У него объект изучения – «Фауст». Он бы и не хотел,

может быть, но поспорил, что останется в аспирантуре и станет «Фауста» изучать, вот и результат.

Пока одноклассники моей пассии слушали в актовом зале патетическое возвешение тянущего велимудрые фразы, возвышающего голос моего коллеги и пытались записывать за ним, мы неслись уже за городом. Рассекали немного облачное небо столбы, разлетались в предвестии увядания, цвели легчайшим золотом листья. А ее близорукие мохнатые очи не мучимы были бумагой и серостью, ее тонкий острый носик не вдыхал кислятину столовой и пот толпящихся тел, ее слабые спина и шея не гнулись на коротком деревянном стульчике, над исписанной глупостями уродливой партой – она закидывала назад большую голову и подпевала своей любимице: я умру и стану ветром, и ветер свистел кругом, освящая летящую машину. Правой лапищей я держал ее левую руку на подлокотнике, и мы давай махать в такт детской песенке: вверх-вниз, вниз-вверх.

– Слушай, слушай! – она закричала с хохотом, обратившись ко мне сквозь музыку. – А вот ты такой умник, а ты мог бы по-вашему рассказать – ну, проанализировать, скажем, мою любимую певицу. Смог бы, ну?

– Да пожалуйста, – я ответил. – Хоть сейчас.

– Ты серьезно? Ты же даже ее текстов ни одного не знаешь!

– Как я их не знаю, если ты их каждый раз слушаешь?

– Ну давай! – скорчила она очаровательную рожицу. –

Ты же у нас типа рокер или митоллизд, весь из себя, от попсятины нос воротишь.

– Убавь звук, – я ей наставительно сказал. – А лучше отключи пока. И послушаешь, как я тебе прочитаю целую лекцию о самой-самой лучшей и глубоководной певице современного мира, моя алый букетик.

– Алый букетик! Самая-самая глубоководная! – она полубоком попробовала сесть. – Я слушаю, Дрюш, в оба ушка.

Глава 2

Возвратив мою любовь в ценности и сохранности после мнимого свидания с Федечкой, я приехал домой поздним вечером. Горестно светили фонари. Выходя из машины, ощутил я душную летнюю еще теплоту. В холодном розово-желтом подъезде, в его гулкой пустоте показалось, что вижу я дверь в тот довольно-таки гнилой и однозначный цветник, в котором я обязан преподавать завтра. Вот они сидят передо мной, их внутреннее разложение, их плечи и руки цвета прелых яблок еще не укрыты, отвратительный запах этого цвета, аленьких губ, блеска волос еще не ретуширует осенняя легкость пальто, шарфа, шапочки. Я буду распинаться перед ними. Я вошел в свою пустую квартиру.

Когда я волнуюсь, то брожу до поздней ночи по комнатам, не включаю свет, кроме как на кухне, чтобы попить воды. Страшно в такой день приступить к привезенным мною рукописям покойного брата – всего через час после разлуки с любимой – и перед хмурым утром университетского преподавателя. Зато отчетливо и тревожно вспоминалось в темной квартире, как зародился наш роман. Не угодно ли насладиться чужим воспоминанием?

Уработавшаяся, длинная от фитнеса и еще не старая мамаша с низким и истеричным голосом тащила дочь чуть ли не за руку, а у лифта встретила Костю Воронского, как раз

вышедшего от меня. Немудрено, что Воронский в черных очках в начале февраля, в модной и дорогой черной рубашке навыпуск, загорелый, развязный, ей не понравился и заставил подозревать что-то. Не понравился ей равно большой просторный светлый зал с огромным плазменным телевизором и недавно купленной игровой приставкой, мягкое кресло для репетитора и ученика, изысканные письменные принадлежности. Наконец, сам я, молодой, большой, спокойно-ленивый – если бы не надежные рекомендации! Мамаша входила с опаской, оглядываясь, как животное, которое насильно из леса притащили в человеческое жилье. Усадив дочку, стала мамаша над ней сзади. Ребенок глядел на меня исподлобья, закутавшись в свое маленькое согбенное тело. Андрей Викторович, она совсем не хочет учиться! Ах, я не знаю, что с ней делать! Нам нужен экзамен! Вас рекомендовали такие-то – деловито говорила мамаша и все кивала на молчащее дитя. Ускоренный курс, хватились вот зимой, а вы, я вижу, такой опытный педагог.

Я, Андрей Чарский, подверг сколько возможно доброжелательному допросу, наклонившись в кресле, мою недобровольную жертву. Я мягко ей улыбался и старался хоть немного рассмешить ее, не испугав русским языком с его столь завихрившейся переплетенностью правил и исключений. Я очень нежно распутывал клубок обрывочных, бессистемных знаний в большой и тяжелой детской голове с бледным, чуть испачканным перхотью пробором в темных волосах. Девоч-

ка так хорошо училась, была такой умницей до восьмого класса! А потом забросила. Вот будешь слушаться Андрея Викторовича! Помогите, пожалуйста, Андрей Викторович, без пары лишних балльчиков по экзамену в девятом классе моя дочурка через десять лет не сможет устроиться на великолепную должность перебиралки бумажек в офисе, где ее будет иметь, возможно, и в самом буквальном значении, кучка кретинов, дающих высокий пример для подражания.

За окном бледнело пасмурное раннефевральское небо. Его ответ – на лице отвернувшегося в профиль ребенка.

Мы потолковали о цене и графике занятий, маман строго глядела на мою будущую Хариту, пока та долго завязывала, чуть не сидя на полу, шнурки огромных ботинок.

Что-то молочное всегда отражалось в ее волосах во время первых наших сидений друг напротив друга. Девочка скучала и была сообразительна. Я о ней не задумывался, никогда не стремился мешать кислое со сладким: я не Гофман, и она не Юлия Марк, чтобы из моих занятий по русскому либо литературе произошли занятия *in literis* и великолепные переплетения романтических фантазий. Она сидела в кресле полубоком, смотрела по-звериному и старалась как можно меньше говорить. Был я для нее очередной неодолимой репрессией, которая дружелюбно-навязчиво заставляет заниматься. Она боялась оценок и явно ждала подвоха в том, что я не ставил ей эти оценки и не придавал значения скудному набору школьных цифр неуспеваемости. Так, в туск-

лом свете второй половины дня, после отсиженных ею шести нескончаемых уроков и невкусного обеда в галдящей столовой, она и я тратили часы краткой жизни на бесполезный труд.

Один раз она рассеянно попросилась через полчаса в туалет. До этого она почти не говорила и часто облизывала губы. Между прочим, довольно редкий случай, обычно не просят, и я предположил, что ее неразговорчивость и нарастающее желание что-то спросить связаны с обыкновенной человеческой нуждой. Во время уроков и свиданий по туалетам не бегают. Очень робко и с паузами спросила она разрешения. Я проводил и щелкнул выключателем, вернулся. Нет скучнее момента для преподавателя, чем когда ничего не делаешь – ученик проверяет диктант, пишет сочинение – неизбежно сидишь один сам с собой, а тело и мысль неподвижно закованы в кольца приличия, и не отвлечься. Ее, впрочем, не было в комнате, я встал. Я прошелся, прошли десять минут. Из моего чистого уголка задумчивости не слышалось звуков, которые объясняли бы долгое отсутствие ученика. Пятнадцать минут в тишине минуло. Недовольный, я подошел к двери туалета и постучался, не получив никакого ответа.

За отворенной дверью на крышке унитаза сидела моя будущая Харита. Плакала беззвучно и молчаливо, сощуриив пушистые глаза. Задранный рукавчик ее кофточки в другой руке дрожит между пальцев бритвенное лезвие, которым она

старалась не оцарапаться – больно же будет.

Я встал в дверях. Она – загнанно глянула вверх. Бледность и тонкость ее вздрагивающего обнаженного предплечья. Предплечье отчаянно не хотело быть взрезанным, не хотело изливаться кровавым фонтанчиком, выливать из себя единственную, пусть несчастную жизнь своей владелицы.

– Не получается? – подумав быстро, полюбопытствовал я и прислонился к дверному косяку, скрестив руки на груди.

Я это вспоминаю сейчас, мотаясь по темным комнатам, а на столе ровной черной стопкой, бросаясь на поворотах в глаза, лежат тетради и листы брата и флэшка с тем, что сохранилось от его наследия в электронном виде! Они лежат тихонечко и меня ждут, ждут. Но нет, между речным непродолжительным раем и полусонными лестницами огромного здания – нет уж!

Она молчала долго, покраснев и хлопая носом. Она утерла слезы, приблизив лезвие к лицу.

– Убейте меня. Уйдите, пожалуйста, уйдите.

– Может быть, свет выключить? – осведомился я. – Без света легче вам будет разрезать себе вену?

– Я при вас. Уйдите, пожалуйста, не мешайте, убейте. Я теперь, – она сглотнула громко слезы и вытянула ко мне шею. Беспорядочная дрожь лезвия все еще над предплечьем занесена.

– Да, вы правы, что самое важное в человеческой жизни – например, любовь или смерть – должны происходить в оди-

ночестве, а лучше и в крошечной темноте, – наморщил я подбородок и подпер его рукой.

Вдруг сквозь слезы она с безнадежной усмешкой зашептала:

– А вы же должны мне скорую вызвать. В психушку. В психушку меня! Маме позвонить. Отберите у меня это. Давайте. Или успокаивайте, что, мол, все хорошо будет, мама тебя любит. Или там типа проблемы мои, эмоции, к психологу, блин.

– Не могу тебя осуждать, – задумчиво я промолвил. – Смерть твоя важнее этой суеты со скорой и мамой и рутинной чуши вроде психологических проблем, которые суть попытка уложить человечье хрупкое сердечко в прокрустово ложе работоспособности. Поверь, девочка, ты права. Кто не покончил с собой в тринадцать-пятнадцать лет, тот должен отдавать себе отчет, что дальше на протяжении жизни ничего хорошего его не ожидает. Значит, продолжив жить, ты совершишь большую ошибку, хоть и поступишь, девочка, как велят мамочка с папочкой и прочие покровительствующие тебе создания ночи. Мы, конечно, не берем в рассмотрение тех, кому такая мысль в тринадцать-пятнадцать лет в голову не приходит – значит, у них интеллектуальные возможности недостаточны, чтобы осознать простую и печальную правду. А тебе, девочка, хватило опыта, чтобы уже все понять про мир, куда тебя родили. Так что либо ошибись, либо убей уже себя. Кровь я как-нибудь отмою от унитаза

и тельце твое вытащу.

– А почему вы не скажете, что все наладится? – вздохнула она. – Что типа это не повод. Или почему, не спросите.

– Не хочу тебе врать. Ты сама знаешь, как все устроено, раз здесь сидишь и плачешь.

Девочка призадумалась. Тоже и я созерцал кровавые мурашки обоев на потолке туалетной комнаты. Не лились новые слезы уже в течение моей речи. Она нехотя встала, громыхнув плохо подогнутой крышкой унитаза и, склонив медлительно, жертвенно голову, вышла, ткнула в мою лапу лезвия. Я схватил его и распорол кожу на большом и указательном пальце. Обильно полилась моя бескрайняя кровушка, и пришлось заматывать наспех, едва проводил я гостью назад в зал, в кресло.

– Убейте меня кто-нибудь, – монотонно пробормотала девочка, потом угрюмо усмехнулась, глядя, как я с брезгливой бережливостью бинтую себе руку, и сказала. – Извините.

– У меня нет сегодня учеников после тебя. Недавно вот по совету друга купил приставку новую. Не хочешь если идти домой – давай поиграем во что-нибудь. Могу тебе скачать игру про танцы или что-нибудь такое – на деньги твоей любезной мамы, разумеется – там имеются вроде такие развлекательные игры.

Отрицательно покачала она головой и возразила: «Убейте меня». Ее ладони с расставленными пальцами свисали беспомощно с колен. Я включил приставку, по шероховатому

рубленому черному ящику зазмеилась синяя ниточка. Сидящей передо мной девочке негде было совершить самое значительно событие в маленькой жизни, попытаться бросить вызов бытию, кроме как в туалете чужого репетитора.

А я все скорее брожу по ночным комнатам. Вот кресло, где она тогда сидела! Натыкаюсь. Потом мы уже располагались на диванчике. Отливает блеском в темноте острое ребро приставки. Снаружи дальние огни окон и пробегающего на другом берегу поезда крошечными точечками желтеют. Два следующих занятия, забыв о бесполезной грамматике, мы играли, вернее, я обучал играть печальную мою подопечную. На втором занятии ей стала смешна фраза, которую занес мне Воронский, пригодная на случай любого, особенно глупого поражения – GG my son train more please, и она хотала, что я называл ее чудесно my son и предлагал больше тренироваться, и искажал цитату на все лады. Воронский же и посоветовал мне тот переверотивший видеоигровую индустрию, дерзкий шедевр, ради которого, эксклюзивного, приобрел я чудо новейшей техники и поставил на бочок рядом с телевизором.

Ripple отличалась, помимо исключительного выхода только на данной платформе, тем, что создавали ее отчасти независимо, на миллионы единственного богатейшего мецената, которому один скромный выдумщик предложил свой проект. Воронский заметил, что известной провокативностью, символизмом визуального ряда, а равно глубокой и прора-

ботанной боевой системой игра должна приглынуться мне, снобу, ценителю стратегий и мыслителю.

Ripple, в главном меню которой колебались занавеси у письменного стола с бумагами и книгами, а за окном вился листопад – Ripple начиналась и заканчивалась скандальными и сущностно антиобщественными мизансценами.

Черный фон и голос читающей тоскливую псевдонаучную бредятину лекторши. Свет. Скользящая зелень доски и персиковая мерзостность пупырчатой стены, в центре – кафедра. За кафедрой пожилая дама в накинутом на плечи платке вещает монотонно, долго, нудно, монотонно, монотонно читает она, отчего переваливаются, выдавливаясь вперед намеренно огрубелыми на общем фоне невероятной визуальной детализации меловые низкополигональные надутые щечки, и как будто с особенной искусственностью посажены на этот коричнево-белый череп очки, рыжий паричище, а снизу прикреплена толстая морщинистая шея, и читает она по бумажке, ухмыляясь собственным неуместным и беззубым шуточкам, и обращается к аудитории надменно «девочки», и опять в нос читает однообразно многочисленные слова – это длится.

Затем – камера назад – кадр из глаз главной героини Ripple, сидящей за одной из дальних парт, в кругу отчуждения. На парте лежат изящные тонкие юные руки с подстриженными ногтями, в рукавах свитера, на которых тени отбрасывает каждая малейшая ниточка. Раскрыта тетрадь с ри-

сунками волшебных чудовищ и готических замсков, и записями, набросками на полях. Глаза вверх-вниз.

Игрок дергает контроллер в надежде на эффект. Игрок давит кнопки. Героиня сначала не шевелится. Потом она начинает очень сдержанно, туго оглядываться, а в ответ на нажатия не говорить, не двигаться, но писать в тетрадку.

Хотите, чтоб я встала и пошла?

Я не могу встать и пойти.

Посреди пары нельзя встать!

Значит, я не могу ходить.

Я не могу ходить – я не могу и думать.

И вслух только пустые сплетни с дурами вокруг допускаются, но не здороваюсь даже с ними!

Вот слева через парту одна такая, прилежно учится и двоемысленно строчит сообщения дружочку – гадина с невыспавшимися глазами и выступающими из-под кожи костями черепа. Небось легко откажется от своего дружочка, стоит тому полюбить ее чуть сильнее обыденного, запросто предаст во имя парочки гнусных товаров, правящей идеологии и смертельно скучного долга образовываться.

Я бы – не предала.

Падают волосы на глаза героини, и минут пять так продолжают – прежде чем объявляет без особой охоты чванливая бабка перемену на жалкий клочок времени. У двери такая знакомая для меня картина: цветет гнилой цветник, толпясь, глаза и болтая, и когда героиня продирается сквозь эти де-

вичьи заросли в дверь, к скромной своей краткой свободе ходить, размышлять, воображать – о, с каким изумленьем, ласково-приторным, девицы глядят на ее отчаянно, должно быть, прекрасное лицо! А она, продравшись, выскакивает в коридор и выдыхает в душной, но хотя бы негромкой пустоте. Прижавшись к решетке у лестницы, достает тетрадь и выдумывает из своих рисунков прекрасный зыбкий мир – собственно игру, где она сражается на 31 идеально продуманном уровне с многообразными и интересными чудовищами, среди красок осени и барочно изукрашенных замков, и статуй в развалинах, где выбор, сложность, разнообразие тактик и хитростей, тонкий расчет и риск, и многоцветье творчества и ума, а не переписывание в тетрадку давящей чепухи.

– Андрей Викторович, я сегодня грумпую, – после молчания так начинались наши видеоигровые занятия. Девочка сидит в кресле и поднимает глаза в потолок, пока я благожелательно помалкиваю, словно намекая, что, может быть, стоило бы поучиться. А, впрочем, стою я уже около приставки и жду возможности сказать:

– Что ж, Рита, в таком случае будем развлекать тебя.

Девочку поразил первый секретный и сложный уровень – «Кровотечение» он назывался. На нем игра впервые показывала острые свои зубы, бросала серьезный вызов, так что просидели мы там долго и запомнили капли крови и сосуды на стенах, надписи, которые обещали страшное и неот-

вратимое физическое насилие, нарушение целостности тела: «У тебя возьмут кровь», «Тебе сделают укол», «Тебя ждет зубной врач» и так далее – а в итоге вместо медицинского кошмара героиня выбиралась в свежий послеоктябрьский лес. Моей подопечной, не знавшей такого финала, поначалу было страшно, и я ее бережно приобнимал за плечо.

Я опасался также того, как воспримет девочка скандальную концовку. Перед финалом игры, после краткого двухмесячного романа, героиня и ее молодой человек тремя годами ее младше идут сжигать бензином родной вуз с добытым оружием наперевес, мстить миру, и среди пожара, у зеркала, героиня стреляет себе в висок. И тут-то, после ее гибели, загружается последний уровень, один из самых эстетически красивых и сложных, и в своем воображаемом она безусловно жива.

Но до концовки мы не добрались. Между уровнями были сценки из жизни героини. Вот она, не посещая по обыкновению утренние пары, заходит в свою старую школу к знакомому учителю попить чаю и поболтать. Учитель сидит с учеником и обсуждает в окне между уроками философские проблемы. Учителя зовет завучиха. Героиня и худой, близорукий неловкий подросток неуклюже обмениваются репликами в его отсутствие. Она восседает верхом на парте и болтает ногами в потрепанных кроссовках. А через неделю, идя опять в школу, героиня встречает на лестнице случайного знакомого и узнает от него, что учитель заболел. Они ухо-

дят вместе и гуляют, говорят, осознавая трагическую свою общность посреди холодного и пустого окружения. Неотвратимый конец прогулки, и внезапный собеседник героини робко спрашивает, задыхаясь, ее телефон – одиннадцатиклассник – у третьекурсницы – мол, хочет дружить. Героиня, со свойственной радикальной смелостью загнанного человека: есть ли у тебя девушка? – Н-нет. – И не было? – И не было. – У меня тоже никого не было никогда, без всяких то есть. А еще мы, похоже, мыслим, как союзники – и стремительной спиралью, раскручивающимся змеем взлетает этот гибельный юный роман, уже на другой день, через пару уровней, бросая их на любовное ложе.

Не знаю, как, но в процессе сцены осторожного сближения, где героиня читает ахматовское «Я умею любить» и признается, что для нее верна разве что предпоследняя строчка да обещание «тебя ждет поцелуй» – потому что она терпеть не может загар – в процессе этой сцены оказалось неожиданно, что я и моя Харита целуемся, и я сбрасывал с нее и себя одежду, и валялся на полу контроллер, и повалил ее на узкий диван, и висел экран загрузки нового уровня, и вопил я от счастья, занимаясь с ней любовью, совершенно безумные вещи. Ни с женщинами, к которым мы ездили вместе с Воронским, ни со своей бывшей я никогда ничего не вопил.

На столе я взял лист старой, этак давности пятилетней, рукописи брата. Видимо, он записывал случайные мысли и сти-

хотворные строчки.

Жизнь очаровала семибуквием унылым.

Зачем пишу?

Оставновись.

Я не знаю.

Дано упрочить разуму апологию.

Я отложил лист. Да, вот так, благодаря несостоявшемуся туалетному вскрытию вен и чудной игре Ripple, вскрылся, подобно нарыву, и начался наш так же неожиданный, нелепый и, вероятно, обреченный роман, моя милая. К счастью, в отличие от бывшей, юная любовница моя совершенно не обременяла себя мыслями по поводу будущего, карьеры, семьи и прочего обещанного за правильные поступки сегодня завтрашнего рая. Кстати, с бывшей-то моей мы до тех пор состояли в чем-то вроде заочной коммуникации. Она, полагаю, со свойственным ей непризнаваемым садомазохизмом, догадывалась, что я порой заглядываю на ее страницу в социальной сети, и либо кидала фотографии такие, что для меня будут остро привлекательны, либо заезженные цитатки невесть откуда. Болотно-зеленый яд этих цитаток намекал, как она в своем морализме, самоограничении, обустроенности права, а я, неопределенный, свободный, ленивый – не прав. Увы, душой молодой бедная бывшая не знала, что истина – не в броских словечках, а в той внезапной глубокой узорчатой сложности рисунка, оттенка, звука, рельефа мира, когда реальность потрясается до основания, приоткрыва-

ет дверцу за поверхность привычных знаков, когда я с моей любимой – только с ней! – охватываю мигом какую-то скрытую жизнь и взаимосвязь случайного сочетания пространства и времени в одно мгновение – брату это лучше и чаще открывалось, и далеко не только в любовном акте. Мне, впрочем, тоже иногда. За это секундное откровение сущности мира и вещей я смело отвергаю миф о будущем, которое может легко оборваться (банальная мысль) либо оказаться не лучше настоящего и прошлого, сколько бы напрасных усилий для него не бросили на ветер.

Глава 3

Из-за чьей-то катастрофы, довольно незначительной через окно проползающего мимо крепкого «Аккорда», но, наверное, очень тяжелой для владельцев разбитых искореженных автомобилей, я взбирался к строению университета довольно медленно. Долго отыскивал я место для парковки, легкомысленно, зевая в руку, пробежал под могучими колоннами. Университет располагался на вершине холма, вход в него и первое помещение за входом подпирали колоссальные, толстые, угрюмо блестящие старинные столбы. Под этими каменными деревьями проскакивали, чтобы потом подниматься наверх по широким гулким лестницам с обрюзгшими, располневшими перилами, затем рассыпались по бесконечным амфитеатрам и крошечным, с неверным звуком, коробочкам. К одной из них поспешил и я, даром что преподавателю допустимо и даже разрешено опаздывать, мало того – кем же, в конце концов, надо быть, чтобы винить своего препода за приемлемую задержку? Я прихватил с собой одну из последних, поздних тетрадей брата. Жаль, что второго сентября на парах еще рановато давать самостоятельные задания, чтобы отвлечься и спокойно почитать. На лестнице задрожал телефон в кармане пиджака – мне позвонил вялый и истощенный Воронский, я услышал его вкрадчивый и осторожный, несколько протяжный голос:

– Доброе утро, друг мой Андрей.

– Привет, как твоя Ксюша?

– Благодарю, недурно, – протянул манерно Воронский. –

Что, поднимаешься просвещать курочек, господин лис?

– Да, даже опаздываю, так горю желанием просвещать, господин охотник на куропаточек.

Воронский будто бы похмельно призадумался и затем выдал следующий монолог:

– Только ты не молчи уж, Андрей, напрасно не сдерживайся. Кто-то вот, допустим, курит, тайком курит и молчит, нарушает статус работника просвещения. Ну а ты не молчи, покажи им, кто на самом деле что там курит, кхе-кхе...

– Воронский, ты пьян, иди спать, чего ты в такую рань вылупился, – ответил я ему. Впереди показалась группка ожидающих юных дев, увенчанных исключительно важными знаниями, в тусклом свете коридора облепивших вымазанную краской жирную дверь с узкой незаметной замочной скважиной.

За лето на учительском столе какой-то хулиган начертал два весьма неожиданных для подобной криптографии слова: Лацедон и кораблекрушение. Нехорошие слова, словно намекают на что-то ползуче дурное, пусть значение первого я едва припоминал – вампир какой-то, что ли? Однако на коротком перерыве, пока часть студенток осталась невыразительно болтать, а часть инстинктивно шатнулась к еще, кажется, запертому буфету, я развернул захваченную тетрадку

прямо над этой настольной живописью. Мартовские записи бедного братца таились за синей потрескавшейся тонкой обложкой:

14 марта.

Заключили Вика Некрулова и Миша Смирнов согласие жениться. Вика Некрулова – такая хорошая барышня, и Гриша, вернее, Миша ее, конечно, заслужил! Какие у них счастливые и праздничные лица на фотографиях, как они полны взаимности, теплоты! Рассматриваешь и ощущаешь это излучение от восхищенного светлого личика. Пожалуй, уже и дата свадьбы у них назначена. Молодых супругов ожидает небольшая, но уютная квартирка с симпатичной кухонькой. Вместе они преодолеют первые трудности семейного быта. Постепенно заново узнают друг друга. А то достаточно ли разберешься в человеке за какой-то год? Пусть же у Вики Некруловой и Гриши Смурного все будет замечательно! Станут они обниматься, ластиться, пилиться и называть друг друга ласковыми супружескими прозвищами: феничками и веничками, еришками и ковшиками, котиками и жмотиками!

Я хмыкал раздумчиво, узнавая брата в этих ранневесенних заметках. О мадмуазель Вике Некруловой я был, уж поверьте, достаточно осведомлен, чтобы сразу понять мрачный юмор, содержащийся в данной записи. Но отведенные минуты кончились, я захлопнул тетрадь, не доверяя ее взорам любопытных куропаточек. Надо мной пыльным хищным

чемоданом захлопывался кластер соответствующих обстоятельств и обязательств. В чреве этого ненасытного забитого чемодана я, проглоченный, едва мог повернуться: после пары нужно зайти на кафедру, в коридоре пересечься по делу с очередным профессором, заполнить и подписать очередную вздорную бумагу. Галстуки внутри чемодана опутывали по рукам и ногам, затягивались на горле. О, этот настойчивый кластер отделял пропастью меня от моей возлюбленной. Хорошо, что ей тоже ведома была тоска и ужас разлучения, пусть кратковременного.

И у нее свой сейчас кластер, обнесенный стенами школы, не менее прилипчивый, еще с утра сдобренный коммунально-кулинарным бабушкиным бредом. Моя утренняя ласточка приближается к школе – я воображал скрытно, пока пересказывал строчащим девицам заученное и далекое – она чуть-чуть затапливает свой ум заоблачным мяуканьем из белых наушников-затычек, думает, слушая любимицу, о моей лекции вчерашней, самостоятельно препарирует и собирает заново разъятое мной тело сокровенных текстов. Она, с сутулой шеей, болтая сумкой, заходит внутрь и выдирает из ушек белую мелодию, обретая настороженный слух – сзади сразу, как многозубая челюсть, громко захлопывается за ней дверь. Моя засоня всегда рано приходит, вопреки девичьему обычаю. Но в полупустом классе ее парту уже сторожит Тошка. Как я понял из ее объяснений, у Нади и Тошки своего рода война за место рядом с моею подругой – кто первый явит-

ся, тот с ней и садится. Тошка заранее караулит, дабы занять проклятое и обожаемое место в полуметре от желаемого тела.

– Привет, – беспечно, с легкой сонливостью после вчерашнего праздника, от прилива впечатлений, от уроненной нами сладчайшей любовной капли, бросает она и садится, вышвыривает на стол тетрадку, какой-то учебник, затерявшуюся на дне ручку.

Тошка смотрит в парту, произнося «Привет».

– Тош?

– Да?

– Задавали вчера чего?

– Да. Тебя не было. Вот контрольную уже и домашку упражнения по геометрии... Потом тебе реферат надо будет сделать, – пытается пронзить ее сквозь толстые очки Тошка, но взгляд его слаб и безвластен, но она совершенно непрозрачна, она падает боком на парту и протягивает жалобно:

– Тош, дашь мне скатать? Пожалуйста, – я вижу, как моя коварная просительница обхватывает парту далеко занесенной ручкой, как пушисто рассыпаются на зыбком отражении лампы в парте ее мягкие волосы, как томно и устало, в сущности безразлично блестят внутренне счастливые глаза.

Тошке трудно рассмотреть ее: какая она после лета вялой, почти односторонней переписки и редких неотвеченных звонков – за окном нависший тяжелый рой рыжеющих от утреннего света листьев, их беспокойное колеба-

ние – Тошка отыскивает в портфеле и протягивает тетрадь, поспешно объясняет, что и как списывать. Он очень неуклюж, когда набитый портфель едва помещается между партой и его тугим круглым животом.

На перемене я снова ненадолго вернулся к дневнику брата:

Однако хорошо проснуться под одеялом поздним утром, когда шторы ало румянятся, и вскочить – а уже март, снег все-таки тает. Скоро идти по библиотекам. Умываешься, плотно завтракаешь и с бодростью выбираешься на улицу. Все уже разъехались по рабочим местечкам. Чернота среди снега, мокрая прохлада. Хватит воевать с тараканами на оранжевом полу квартирки! Пятиэтажку от улицы отгородили высоченным кирпичным домом. Вот углубление его подъезда, темное, цифра 6 сбоку от входа, сложили ее из синих стеклышек в окружении стеклышек зеленых. Здравствуй, большой и внутри разветвленный, загадочный подъезд! Мимо проходишь, а в воздухе зовущий зуд колет, играет старенький плеер ту же композицию, что утешала в восьмом часу утра глубокой зимой пять лет назад. Тогда еще стояла необходимость так рано подниматься. И плеер тот же. Вспоминал, пока ногами месил податливый снег, подробности бегового маршрута. Почти у арки из-под деревьев, там в дорожку два столбика железных воткнули и раскрасили – там, между несколькими стволами неизвестно зачем вставлены доски. Кто их туда поставил,

на такую высоту? Кормить птиц? Забираться наверх? Эти доски среди ветвей мучают – хочется их снова поскорее увидеть. Увидишь – значит, убедился в целостности и слаженности, потому что они на месте. А впереди восемь или девять – пусть выдастся сухой и бесснежный декабрь – месяцев счастливого бега мимо моих любимых досок. Кажется, долговечная зима наконец разваливается на кусочки и плавится. Ее корки и наросты на коже вещей отваливаются одна за другой! – Брат мой не любил зиму до крайности, особенно в последние недетские и самые скорбные годы.

В то же время, пока я читаю записи, ворочаясь в своем замысловато устроенном, но тесном чемодане, упорядоченно длится школьное существование, обнимает плечи моей уязвимой Изабелы.

Тыкая ручкой, Тошка старательно и неумело растолковывает решение геометрических задач, не надеясь на то, что моей умнице сколько-нибудь внятна их внутренняя сущность. Вскакивает в класс и за заднюю парту с размаху приземляется Надя. Это существо, предположительно лучшую подругу – если возможен только для одинокой души некоторый род прохладной и недоверчивой женской дружбы – наблюдал я вживую лишь однажды краем глаза, однако внимательно изучал фотографии прочие материалы, и многое знал из уст самой Хариты.

– Хаюшки, Риток, – брякает Надя, шумная, визгливая, считающая себя большой неформалкой и потому покрасив-

шая прядь волос в бледно-сиреневый оттенок и надевшая несуразно огромные очки в слегка треугольной оправе. Надя фанатеет от серьезного аниме и независимой музыки. Еще, судя по фотографиям, Надя обожает выпячивать голюю складку живота, полагая, что это ей идет – ничего общего с мгновенным истинно эротическим мельканием пупочка моей Грации, когда я учил ее подтягиваться на турнике, держа за бедра, и потом обходительно целовал щекотливый продолговатый пупочек. Надя предполагает, между прочим, что проказница моя встречается в рамках скромненьких объятий и поцелуйчиков с закрытым ртом со студентиком-первокурсником с какими-нибудь плохо выбритыми усиками, разумеется, хипстером.

– Ой, привет, Надюш, – ловкая Харита, минуя молчаливую толстую преграду, перекидывает ноги через парту и садится на нее около хлопотливой товарки.

– Че вчера свалила?

– А так, уныленько все. Ща у Тошки скатываю.

– Тош, а, Тош...

– Чего? – угрюмо оборачивается к Наде Тошка.

Обе покатываются со смеху и убегают игриво в коридор, оставляя преданного кавалера в некотором затруднительном, тяжелом недоумении.

Брат писал далее:

Есть, признаюсь себе, такая штука – зданиебоязнь. Здание – проект, чертеж, план, порядок каменной жизни. Здание

ния гулкие и большие. Но самое страшное: когда здание не жилое, в нем сразу же поселится какая-нибудь инстанция, институция. Собой заразит. Она в стенах! Идешь по улице, и ты незнакомец всем, самому себе незнакомец, куда угодно сверни шаги – не упрекнут, не заметят. По улицам путешествуется, пусть льды скользко тают, пусть мокро и снег в крапинку. Но в здание заходишь – оно тебя уже сдерживает, замыкается, уже кто-то определенный – ты, в правилах с пропуском. Действуешь последовательно. Запоминать двери библиотеки – сначала правая, потом левая, назад наоборот. Остановиться у столика, пальто снять и сдать. Впрочем, тут тихо и одиноко с утра. Поистине монументальное молчание и безлюдье! – Завершала отрывок, без изменения почерка и пишущей ручки, что исключало приписку впоследствии, неуместная, казалось бы, фраза: *Нина, Ниночка, Нина, не хочешь со мной поцеловаться?*

Между тем, предположим, Риток и Надюша проводят последние минуты перед уроком в относительной вольности коридора. Они шепчутся, обмениваясь мелкими горошинками вранья. Тут с лестницы поднимается мой школьный субститут в глазах, по крайней мере, матери девочки, долговязый рыжий Федечка в футболке с пародийным принтом и с огромными гуашево-зелеными наушниками на кривой жилистой шее, с нахально засунутыми в карманы джинсов волосатыми ручками. Федечка этот себя считает профессиональным игроком в доту, знает кучу надерганной оттуда вар-

варской терминологии и состоит в какой-то местной команде из нескольких юных раздолбаев, поглощающих пиво за низкопробной компьютерной сублимацией.

– Здорово, девочки! – бодро и наступательно объявляет Федечка. – Че вот, как лето?

– Здорово, Федечка-девочка, – гнусаво его Надя передразнивает.

– А че вы хэзэ вот унылые такие? – ломающимся голоском продолжает Федечка, приближаясь.

– Мы за компом все лето не сидели, вот и унылые, – подливает кислятины моя Харита.

– Слышь, а вот, Ритка, у тебя че за вот тролльные уши, – усмехается нахально Федечка и подмигивает. – Слышь, Ритка, а гоу со мной на свиданку, а?

– Пошел ты, Федечка, – морщится презрительно моя любовь.

– А че, Ритка, думаешь, у меня бабла мало? Мы с пацанами в этом году вот интернешнл затащим, по ляму долларов на рыло, ваще на школу забьем, на Мальдивы с тобой покажем, так что зря отказываешься.

Скромная моя Элоиза в ответ произносит удивительно приятные и здравые слова:

– Федя, дота твоя для бомжей, понял? Настоящая игра – это Ripple.

– Да это вот че за гавнецо консольное, – прихихатывает Федечка. – На пеке даже не вышло, мыльный шутерок типо

олдскульный какой-то...

– Федечка, а может, у тебя просто до таких шутерков не дорос?

– Хы, не дорос вот. Ритка, ты че, не знаешь, не видела, у меня длинный!

– Вали отсюда, Федя, тренируйся больше, сынок, прежде чем к девушкам приставать, – ставит точку в разговоре Элоиза. – Пошли, Надюш. Не миллион тебе в рыло, а мой парень в рыло тебе даст.

Федечка вслед недовольно дразнится:

– Ритка-головастая, слышь, да нет у тебя никого! Этот вот, что ли, Тоха? Я твой парень. Откуда у тебя парень?

Даже не знаю, за что следовало бы оттащить за ухо нахального паршивца: за то ли, что равнодушен он к моей возлюбленной, либо за его возмутительные высказывания о вещах, в которых мальчишка ничего не смыслит и едва ли будет смыслить спустя годы.

Через полтора часа перебирался из здания городской библиотеки в здание нашей, вузовской, – повествовал далее брат. – Боковая, в стороне от центральных, прелестная пустынная улица совсем не расчищена. За изгородью в детском двореке огромные сугробы, а тут перескакивать только остается с льдинки на льдинку, с борозды снега на борозду, от глубоких луж и ручьев. Каша серого, селедочного, черного, а в ней единственную дорожку находишь. Здесь она, темная, неизвестная страсть природы! Каждый шаг при-

ходится делать выбор: наступил не туда – провалился, ноги в воде, поэтому требуется скакать, перешагивать, нащупывать дорожку – один верный ход раз за разом, от тебя самого он зависит, никто его не подскажет. Чистая, незапятнанная свобода, альтернативность пути под понурыми, очень черными, нависшими деревьями, по бесконечному неисчислимому многограннику таяния. Самое замечательное, волнующее ощущение первой весны. Век бы так отыскивал путь и пробирался вперед.

– Тош, а, Тош, – после двадцати минут осточертевшей геометрии, в неожиданном приступе томности и меланхолии тычет ручкой в толстую спину Надя.

– Чего тебе? – бурчит тихо Тошка, которого вырвали из вцепившихся клещей горя.

– Тош, ну будь лапочкой, напиши мне стишочек, ты обещал вчера, пожалуйста, напиши. Хочешь, я тебя за это чмокну?

– Ты же Надежда, то есть полностью?

Юный сочинитель, с сердцем, переполненным страдания и ужаса, за остаток урока, решая параллельно задачу, вытаскивает из себя пять строф. Ему таким богатым и оригинальным кажется технический прием, когда в каждой строфе он рифмует имя «Надежда» с другим словом. Заимствует он из школьной программы наивнейшие случайные обороты вроде лошадиного словечка «Чу!». Творит Тошка, однако, не о безразличной Наде, чьи лукавые ледяные губы в щеку

вряд ли сколько-нибудь утешат.

Слепя прохожих шарфом снежным,
Кружится на коньках метель —
Кружит веселая Надежда
По синей улице своей.

Грустит небрежно иль безбрежно
Ее любовник у окна —
К нему прелестная Надежда
То горяча, то холодна.

Но чу! Торопится Надежда
К нему, к нему, скорей, скорей,
Среди толпы обняться нежно
В букете дальних фонарей!

Он счастлив с нею безмятежно —
Ступив с изведанной земли
На хрупкий лед, они с Надеждой,
Как боги, воды перешли.

В весенней кружевной одежде,
Быстра, стремительно легка,
Его покинула Надежда
Под треск капелей ручейка.

Скатывание в последней строфе в совсем скудную и оче-

видную рифму. Тошка не знает, чем закончить – не пишется дальше стихотворение. Он оглядывается на недоступную и далекую жизнь, сидящую рядом, а та сладко дремлет на парте, ничего не делая и не слушая. Льстит он себе строкой про изведенную землю – никогда какому-то Тошке с моей Марго земных наслаждений не изведать, за это ручаюсь. Хочется ему задать вопрос про вчерашний день, про красочную открытку с добрыми котятами и стихотворением, что так и валяется на заднем сидении моего «Аккорда». Тошка не спросит. Он робко, словно невзначай касается своей ногой ее нестерпимо притягательного колена под партой. Колено отдергивается вмиг, через касание на долю секунды переливается столько равнодушного отвращения. Если бы Тошка знал, как я вчера касался губами каждой клеточки этих коленей с капельками речной воды, его бы дернуло меня придушить на месте.

Немного оставалось дневниковой записи от 14 марта. *Когда собирался уходить (добрый час провыписывал) – смотрю, в читальный зал входит девушка. Один-единешенек я в зале, на обычном месте за дальним столиком. Девушка, спросив у библиотечарши, села за столик первый, центральный. Что-то в ее облике намекнуло: плохо дело, точно надо уходить. Встал, прохожу, сдаю книжки, одновременно та встала и получала свое – что-то сложное, теперь не вспоминается. И тут в глаза кинулись в сочетании небольшой рост, каре волос, а из воротничка коричневого, шею закры-*

вающего, радостно торчат-выглядывают наушники! Два черных кружочка – очаровательная подробность. В черных кружочках на ниточках, в том, как они колеблются при ходьбе – она вся. Как только закрыл дверь читального зала, как за спиной та в дверь и вежливо, мягким голосом сказала: подождите, вас библиотекаря зовут – не помню точных слов – она из зала высунулась. Библиотекаря вернула требование: вдруг где пригодится еще? Не задерживаясь, выскочил в коридор.

Пока отрывочками и урывочками изучаю я последнюю повесть брата, тащится, истекая неторопливо, время урока моей благородной девы. Я в преимуществе, поскольку должность преподавателя не столь скучна и разрешает некоторые маневры. Она же на перемене валяется на парте, изображая леность, в действительности ощущая тоску и отвращение от поднятых рук, от электрического света, от сторожащего Тошки, и даже от товаров отмахивается в хандре рукой. По своей чудной и милой привычке, она теребит двумя пальцами волосок, глядит за окно, подперев щеку. Ей мерещится вчерашний день: она, плоско хлопающая по теплой воде ладонями; светлые небеса, редкие несущиеся моторные лодки, склоненные к воде деревья и пристани, целая турбаза на другом берегу; мы вдвоем на песчаной косе среди речки смеемся и перебрасываемся ласковыми каскадами брызг. Дай я тебя утоплю! – восклицает она, стоя передо мной, и хватается за плечи. Я позволяю утопить себя, опустить во влагу,

где созерцаю ее тонкие грациозные ноги. После чего, натешившись, моя всадница садится на меня верхом, обхватывает шею худенькими разгоряченными руками, и мы отправляемся мы в плавание далеко-далеко, куда иначе заплывать девочка побаивается, предпочитая на моей спине оглядываться и самозабвенно созерцать, пока я своими лапищами разгребаю податливую воду – сначала неспешным брассом, потом стремительным кролем, поднимая волны брызг. А потом, в заваленном занавесками, игрушками, телевизорами деревянном домике, под низким потолком с лампочкой, мы, в конец утомившись, располагаемся на расшатанном диване. Любимая вытягивает ноги, я кладу их себе на волосатые колени и начинаю чесать ей пятки, как чесали в неопределенном забытом детстве. От этого дополнительного, но оттого особенно острого, последнего удовольствия жмурятся прекрасные очи с величайшею негой, и безмятежная улыбка означает последний предел утомленного счастья. Мы молчим, слыша лишь редкие голоса проходящих к реке. Из маленьких окон стелется оранжевый пыльный свет. Чему тут, в школе, заменить все это?

Последний отрывок: *«А жаль, что слова не сказал девушке из библиотеки. Подумал уже на улице, великий мыслитель – хорошая мысль всегда приходит опосля. Вернуться? Да не судить же по колебанию наушников и прочим обаятельным деталям, что это – ключ, что разомкнет и растопит, что стану заключенным или свободным! Нет,*

в торчащих наушниках намек был! И в том, как показалась в дверях, как звучало. Не запомнил почти ничего. Прости, темная страсть природы, есть у тебя чему поучиться, да отброшу тебя. Не оказаться бы в смешной и жестокой истории не то героем, не то дурачком. Но все же, все же. В субботу? Может, один раз зашла, вообще в этот день не учится. Или еще после пара. Учится, не учится в субботу? Найду ее, попробую найти через неделю, если сама не зайдет. Зайдет – знак» – так заканчивалась запись.

Так проходят, бездонным ущельем отделяя меня от любимой, будни. Вместе ждем мы, пока по дороге из школы наметится зыбкий мостик телефонного разговора, брешь в запретах, что налагает пространство и время. Вечером завяжется переписка – впрочем, искусством речи письменной красавица моя владела лишь достаточно условно, отправляя в основном прекрасный неразборчивый хаос из ошибок и многоточий. Я стоял, справляя нужду, в тесной кабинке университетского туалета. Разлучи нас рок недели на две-три, я бы, пожалуй, спятил. Надеюсь, что и она спятила бы, иначе многого ли стоит ее любовь? С сожалением я глядел на свой, повторяя забавный эвфемизм Воронского, каташкопос, такой бессильный, сморщенный и бесполезный здесь. Только что сидели передо мной внимательно-унылые барышни, болтал с лупоглазенькой веселенькой кудрявой лаборанткой – нет, какой из меня лис в курятнике, тут мой каташкопос всегда в моих штанах, и нет причин его расчехлять. Увы, хра-

нить в телефоне фотографии представлялось мне достаточно небезопасным. Я вспомнил одну. Еще весной озорная моя жрица растений откопала в шкафу древнюю елочную гирлянду. Вот она, перед моими измученными глазами, сдерживает смех и позирует, будто танцует, нагая, обмоталась только этой гирляндой, распяла ее на поднятых ввысь и в стороны руках. Живую белизну тонкой кожи лишь оттеняет, обвивая, электрическая белизна змеек-проводов, и украшают экзотические плоды – ультрамариновые, пурпурные, абрикосовые, изумрудные фонарики.

Глава 4

Нераннее пробуждение и неторопливый подъем с широкой кровати сопровождались приятной в болью в мускулах, от которой тяжестью наливалось тело. Наконец-то свободное утро, после трехдневного труда. Я, заставляя себя, разгоняя молочную кислоту, пробежался до кухни, где щедро положил в кастрюлю овсяной крупы. Вчера с отошедшим от праздничных мероприятий и причиндалов Воронским, мы после перерыва посетили атлетический зал. Не могу завидовать тем, кто отправляется наращивать мышцы в одиночку, размышлял я, пока надраивал как следует зубы, но в подходящей компании упражняться исключительно приятно. Невысокий, поджарый, рельефно-смуглый Костя Воронский гармонично оттенял меня, несколько мешковатого, но могучего, широкоплечего, рослого, с такой колоссальной спортивной сумкой фирмы Когах, что мы шутили даже, что Костя в нее поместится целиком.

Я нацеживал себе кислый сок и накладывал творог для атлетического завтрака. Обращала наша парочка на себя внимание: определенно не последние персонажи в зале, но при этом не двое молодых безмозглых спортсменов или крепких, но полноватых в талии хриплых бизнесменов за сорок, а два дерзких персонажа, которые ведут глубокомысленную беседу между упражнениями и даже в процессе: один пыхтит

и трудится, другой говорит.

– Знаешь, Воронский, что приходит мне в голову, – рассуждал я, пока товарищ мой резковато приседал со штангой, и далее, нанизывая себе сверх его веса лишние килограммов тридцать. – Я высказывал уже точку зрения, что полноценный человек строится из двух составляющих: полноценный человек должен каждый день заниматься, во-первых, творчеством, во-вторых, любовью, причем лучше бы эти процессы взаимопроникали и взаимодополняли друг друга. Андрей Чарский, увы, в этом плане не ставит себя в образец, так как человек нетворческий, а робкая грешница моя частенько отделена непреодолимой стеной. Но я все-таки полагаю, что надо к этим двум составляющим добавлять третью: хотя бы пару вечеров в неделю с другом потягать железяки, убежать на часик-другой от вдохновения и женской ласки.

– Вроде как в античности, Андрей? – ехидно спросил, вытираясь полотенцем, Воронский, пока я размеренно приседал. – В здоровом теле здоровый дух?

– Несомненно, – выдохнул я со звоном опустившейся на место штанги. – Античные философы были правы, что чередовали физические упражнения с философскими спорками.

– А еще они параллельно с тем и другим передавали мудрость от старцев к молоденьким мальчикам, – Воронский захихикал язвительно. – Весьма специфическим способом.

– Воронский, – наставительно возразил я в ответ. – Согла-

шусь, нас могут принять за парочку влюбленных гомосексуалов, но ты же прекрасно знаешь, что мы таковыми не являемся.

– Не сомневаюсь, Андрей, не сомневаюсь, – иронически подмигнул мой приятель. Мы, отдыхая и прогуливаясь после базового упражнения, подошли к рингу, где немолодой татуированный тренер с серебристым ежиком и орлиным носом учил боксировать какого-то юнца. – Вот видишь, тоже мальчика тренируют, да-с.

– Слушай, Воронский, может нам с тобой боксом заняться? – почесал я потный затылок. – Сто лет перчаток не надевал.

– Хочешь меня использовать как грушу для передачи мудрости, Андрей? – любопытствовал Воронский. – Нет, я тебе не позволю нанести мудрость на мою мордашку, Ксюши и Анюши этого не поймут. Ты же, помнится, до вуза, в школе был боксер.

– Да, было дело. С восьми до одиннадцати лет борьба, с двенадцати до шестнадцати – бокс.

Я, возвращаясь мыслью к этому диалогу, пока готовился завтрак, принял стойку и нанес несколько ударов кухонной солнечной пустоте. Руки заныли сильнее прежнего. Жизнь, как ни поверни, штука весьма приятная, но и в свободный день поджидали необходимые, давно откладываемые дела.

Позавтракав и потягиваясь, разложил я на диване тетради брата и ноутбук, а сам распределил грузное, тугое тело

в так называемую мою позу крабика – ведать не ведаю, как ее отчетливо описать. Предстояло все-таки, по крайней мере, систематизировать сегодня наследие, мне доставшееся. Бедный брат, Евгений Чарский, завещал мне свои труды и просил только прочесть и сохранить, а словом, как-то распорядиться теми разрозненными текстами, что остались от него.

Женя был тремя годами меня младше. Не могу сказать, что особенно любил своего брата либо был с ним близок, как в совместном детстве, так и потом, с началом моей учебы в другом, более крупном городе: я уехал туда от враждебности домашних отношений, к самостоятельности, поселился в освободившейся удачно теткиной квартире. Да, близки мы не были, но я наблюдал рядом этого застенчивого, загадочного мальчика, который рисует выдуманные стратегии и сочиняет немислимые фэнтези-повести про гномов-косарей в шароварах и армяках, и осознавал как-то с ранних лет, что имею дело с субъектом гораздо более сложного устройства, а может, и более высокого порядка, чем я. Поэтому по мере возможностей старался я помогать брату. Так, если иногда – изредка, впрочем – в школе кто-то из одноклассников или других злодеев имел к незащитному Жене претензии, на горизонте быстро появлялся я и мой приятель по секции бокса Диман, очень глупый и лысый садист, которому нравилось избивать других и которым я вполне управлял. При явлении двух таких представительных лиц претензии к брату обычно мигом испарялись (брат Димана, помнится, побаивался,

подозревал в нем потенциального палача). А когда пилили Женю в семье за неосторожные прогулы, я успокаивал и как умел, отстаивал рыдающего прогульщика.

Разъехавшись, переписывались и звонили, а тем более попадались друг другу мы чрезвычайно редко. Наш отец, небедный бизнесмен, вечно надеялся купить за городом участок и построить коттедж, вследствие чего отличался большой экономностью – жил в хрущевской квартире на первом этаже, с тараканами и отвратительным отоплением, ездил на разбитых жигулях, скупое одаривал нас деньгами. В начале шестого десятка болезнь набросилась и со вкусом пожрала отца снаружи внутрь, искалечила, истончила кожу и прожорливо накинута на сладкие внутренности, а затем, неторопливо обсосав огрызок, лениво выплюнула его – на похоронах брошенного нам, людишкам, огрызка мы с братом встретились едва ли не в последний раз.

Оставил отец мне, однако, довольно значительные сбережения – младшему сыну он бы не доверил и копейки. Седьмая часть сбережений этих обернулась надежными толстыми стенками, мощным атмосферным двигателем и солидной белизной сидений «Аккорда», остальные же части жирели, набирая проценты. Брату я посылал ежемесячный пенсион, убеждался, что тот обеспечен всем необходимым, а в остальном не слишком вспоминал о его жизни.

Женя в свободное время, насколько я знаю, подрабатывал, одновременно ловя нечто вроде удовольствия, живыми

интернет-трансляциями по компьютерным играм. Он комментировал турнирные партии в стратегиях, судя по моим недолгим наблюдениям, скучно и однообразно, хотя находились у брата постоянные поклонники. А уж когда принимался Женя пространно и запальчиво излагать собственные теоретические взгляды на видеоигры, тут он будто напяливал маску бесполезного и обреченного осла. Да еще перед кем. Безусловно, согласен я был со многими высказываниями брата, но не находил причины их глобально теоретизировать и просвещать безликих зрителей. Также полагал я, чего таить, что его развитая и ветвистая, противоречиво-художественная философия видеоигр происходила в основном от того, что Женя был плохой игрок и плохой стратег. Я-то, в ранние студенческие годы великолепно играл на деньги в третьих «Героев», в большинстве случаев побеждал местных мыслителей, вдумчивых ли, самоуверенных ли. Помнится, один такой чемпион проиграл десять тысяч рублей и отметил злобно, что мне за замок инферно помогает настоящая инфернальная удача. Тогда мы с Воронским были еще совсем молодые, следовательно, быстро же спустили выигрыш на форменную вальпургиеву ночь с двумя пригottenными доступными красотками из общежития. Потом я, честно говоря, месяц искал признаки сифилиса, но, к счастью, легкомыслие двух студюзов обшло без последствий.

Какое ласковое, будто майское, утро. Я принялся таки каталогизировать рукописи брата, перекладывать просмотрен-

ные тетради справа налево.

Одиннадцать тетрадей первого курса. Почти ничего от Жени, одни учебные записи и коротенькие рисуночки на полях, квадратики, кружочки, неживописные штурмовые винтовки из видеоигр-боевиков.

Семь тетрадей второго курса. Они обильно иллюстрированы, особенно карикатурами, мало записей лекций и семинаров, да и те вперемешку с прочим содержимым, множество издевательских и даже грубых стихотворений и песенок.

Третьего курса – три тетради. Одна из них чисто дневниковая. Плюс еще несколько вариантов «Сказки», посвященной Виктории Некруловой. Я отчетливо помню черное отчаяние брата после третьего курса, так что его пытались – разумеется, напрасно и бессмысленно – исцелить, но чем мог помочь Жене самоуверенный деловитый мозгоправ женского пола, ливший на него поток неолиберальных докс и банальностей, дабы балаганными беседами сложно кем-то сочиненную душу брата в одну из душ общества? Нет уж, я сглотнул и пошевелился. В этот омут я, пожалуй, не желаю вовсе нырять.

«Стишок о дестком преступлении». Две светло-зеленые тетрабочки последующих полутора лет. Брат однажды говорил в то время, что ему, словно в детстве, снятся яркие и повторяющиеся сны. Из онейрических осколков он пробовал собрать роман, а получилось зыблящееся месиво описаний,

по которым бесцельно бродит некий Тявка, борец с монстрами во главе со страшным Заразой за погибший город зверей Гардисстал.

Я взял в руки дневник о Нине. Да, кажется, настал этим солнечным раннесентябрьским утром неотвратимый момент, пора обозначить имя, которое я первого числа не решился произнести, боясь накликать тени, спугнуть нечастое счастье. Пусть брату слышалась в ее теплом имени чудная жизнь, знойно-зовущая, певуче-лучистая. Я слышу два искусственных, скрипучих металлических щелчка – Ни-на. «И Нину видим мы, и любим мы случайно» – восторженно брякал в нашей переписке брат. Дневник о Нине я потихоньку почитывал со второго сентября. Нет, не она на миг приделась брату в уютной мартовской библиотеке: соотносить тающий призрак и единственную вещественную деталь – наушники в воротнике – с какой-либо человеческой идентичностью ни мне, ни ему не удалось. Кто знает, вдруг, материализуйся ответным словом и улыбкой, легчайшим ухаживанием это обаятельное привидение, Женя теперь обнимал бы невесту, а не лежал в четырех деревянных стенках.

Номинация «Нина» и ее носительница реминисцировали для восхищенного брата Зину Мерц: Нина-Зина-.... В ответ на его чрезмерные излияния я писал, недовольный этими словоохотливыми хвалами, довольно иронически: «Помни, главная заслуга Зиночки Мерц – в том, что она предпочитает главного героя, молодого творца, художника, мыслите-

ля своему отчиму, мерзостному слащавому черносотенцу. Очевидно же, что этот упырь повествует о своем либидо под личиной „романа Достоевского“, что его, эту сочную старую собаку, сводит с ума походка вожденной „Аиды“. Тебе, братец, тоже нужно разогнать чудовищ из прошлого твоей Музы. Смотрел фильм про мальчика, который ради девочки с зелеными, голубыми, розовыми волосами готов уничтожить семь таких чудовищ?». Женя, не зная, вероятно, чем парировать дружеский выпад, не ответил и обиделся. Да простит он меня, но не воспринимал я эту Нину всерьез, под сторонним взглядом казалась она переучившейся не по мозгам сельской дурнушкой из профессионально-технического колледжа, к тому же по-пионерски инициативной – кто мог представить ее белой, матово-черноглазой предвестницей гибели, в чьем дыхании, на чьих устах и перстах отравленная пыль, что разит распадом, судорогами тысячи бесконечных смертей? Внешняя непрезентабельность будущей горевестницы, впрочем, обещала некоторую надежность и, не исключая, немало других удовольствий для наконец-то отыскавшего подругу брата. Да и что такое красота? Моя-то бывшая была, согласно очевидным критериям, практически модельной красавицей, что не мешало ее жестокому, неуравновешенному сердцу оставаться прохладным и скуповатым на взаимность, воспринимать любовь – при том, что я ее привлекал только как brutальное мускулистое животное – как нечто злокозненное, а не как миссию и нежное милосердие.

Равно и образ этой красоты по мере обнажения отслаивался от тела бывшей, сохраняясь сугубо в области бесчисленных косметических процедур, бросая мне в лицо мрачную банальность.

От Нины, помимо подробнейшего, с топографически точными картами их прогулок дневника, сохранились два важных документа на флешке:

1) Папка с 37 отобранными братом фотографиями под заглавием «ZZ неведомая краса» – брат часто обозначал девушек латинскими буквами NN или ZZ.

2) Несколько довольно претенциозных длиннющих предложений, так называемых периодов, которые Женя незадолго до гибели писал Нине. Так, очевидно, невысоко оценила технику написания текста о себе посредством одних периодов. Это единственное, что осталось от их протяженных электронных бесед, прочее извлечь, повторюсь, у меня не получилось – если оно еще существует. Я листал немного оцепенело фотографии, пытался осознать, что же такого волшебного прекрасного обнаруживал в этой Нине брат.

Звонок вскинулся, я выпутался из позы крабика, перескочил через бумаги и ноутбук и к столу вытянул руку. Еще десяти утра не было. Звонила моя запыхавшаяся Харита.

– Дрюш, Дрюш! – глотала воздух она.

– Добро утро, ранняя пташка.

– Дрюш, я нашла брешь в системе! – торопливый, сбивчивый, но затаенно-радостный голос. – Прикинь, прикинь,

нас тащат на эту обрыдлую физру на улице, ну и этот дедуля еще на меня подкатывает: чего ты без формы, где справка об освобождении и все такое, а сам меня еще по волосам полапать. Изврат, бабушек ему надо теребить, а не девушек! Ну а у меня одна сменка, я форму вааобще брать не хочу. Тут на крыльце заднем я раз – в сторону, соскочила и сбоку замаскировалась. Ты же знаешь, Дрюш, как свалить трудно, повешали этих камер, какого-то дылду на выходе поставили. Ну а я под окнами школы по стеночке, по стеночке, пока дедуля на других бляял, раз – и у ограды. И под ограду пролезла кое-как, животиком вверх, чуть животик об эти железки себе не распорола, а коленочки запачкала и выскочила! И от школы бежать просто с ультразвуковой скоростью!

– Девчонка, выскочка, горячка, чей звук широк, а стан узок, как ручей, который пробивает камень, – проговорил я, когда она выпалила, выговорила и усмехнулся, одобряя здоровую анархическую инициативу.

– Дрюш, а прикинь, Дрюш, Надька сказала – не полезу, она жирная очень.

– Оставь Надежду всяк из школы выходящий, – подмигнул я, пусть телефонный разговор не воспроизводил подмигивания.

– Чего? Короче, Дрюш, я хочу в киношку, там будет просто 10 из 10 фильм, который в нете супер отзывы собрал. И вообще, я скучаю, – с извилистыми повышениям и понижениями голоса протянула она.

– Натягиваю штаны, Харита, и я уже за рулем «Аккорда».

– Дрюш, а скажи, я вот так офигенски из школы свалила, я теперь секретная агентка?

– Секретней не бывает, мисс агентесса.

На секретных агентах девочка изредка полагала себя помешанной, даже пару раз настаивала, чтобы мы зашифровали нашу сетевую переписку хитрейшим и невыполнимым методом. Я отшучивался, что при ее манере изложения любые другие шифры заведомо избыточны. Наряд моей разведчицы, когда подхватил я ее на немногочисленной улочке, отнюдь не совпадал с образом маскультурной скучно-сексуальной шпионки. Ее едва различимый свежий загар и взволнованный румянец оттеняла голубая футболка и что-то вроде легонького джинсового платяица до колен.

– А я сменку посеяла, – первым делом беспечно объявила она. – А ничего, Тошка или кто подберут. Дрюш, ты такой важнящий весь в пиджачке, прям правда суперагент на гончном «Астон Мартине»! А я девушка из фильм про шпионов, которую ты должен защищать от суперзлодея. А суперзлодей – это противный дедуля-физрук-изврат!

– В таком случае, для большей конспирации предлагаю изобразить влюбленную парочку, которая посещает кино.

– Ой, давай, гони, Андрюш, нас преследуют! Гони, я буду остреливаться, – она вскарабкалась с ногами на кресло, развернулась назад, слегка стукнулась головой о потолок, прищурилась и сложила указательные пальцы в воображаемый

пистолет. – Вон там бежит, дедуля-терминатор в трениках за сто рублей! Дави на газ, я стреляю. Чух! – она поднесла пальчики к губам и подула на гипотетический дым от выстрела. – Чух! Чух!

– Сиди смирно, Грётхен, ты, пока под забором пробира- лась, спину запачкала, дай счищу, – сказал я.

Обладай я в действительности «Астоном Мартином» с прилегающим к нему благосостоянием, давно увез бы го- дика на два-три, в кругосветное путешествие, на невиданные острова мою любовь от, в сущности, действительно следую- щих за нами по пятам пройдох. Полгода мы оставались чрез- вычайно уязвимы, просвечивали теперь сквозь затемненные стекла автомобиля. Я лишь надеялся, что, когда разорвутся над нами покровы тайны, когда ценой несдержанной любви окажется скандал с примесью уголовщины, я успею, благода- ря вероятной нерасторопности моих будущих обвинителей и тюремщиков, выхватить из-под них Маргариту и на остав- шиеся от отца деньги вырваться, укатить с ней неважно куда, хоть на другую половину земного шара.

Степенно, размеренно, с подчеркнутым аристократизмом кушал я порцию пиццы. Непременно мексиканскую! – то- пая непоседливой ногой по веселенькому разноцветному по- лу, положив оба локтя на красный столик, моя обжора рез- во уплетала горячий острый треугольничек, он исчезал в ее движущихся подкрашенных губах. Она хлопала трогатель- но ресницами. Она стеснялась вытирать губки салфеткой,

оставить россыпь розовой помады. Она основательно напутала расписание сеансов, отчего желанная мелодрама оказалась доступной нашим взорам лишь через два часа. Из кинолент, вписывающихся в наш график лучше, привлек наибольшее внимание артхаус-фэнтези-дизельпанк-боевик «Часовщик».

Поскольку в утреннем еще полупустом зале мы порой допускали некоторую вольную тесноту общения, поскольку я отвлекался то на раздумья об оставленных рукописях брата, то на тревоги о нерадужном грядущем, поскольку освобожденная от занятий моя любовь хихихала и хохотала, нелинейное сплетение событий фильма я улавливал с трудом. К тому же это был действительно некий высоко-пародийный и высокобюджетный артхаус, деконструкция жанра комиксового боевика. Часовщик был супергерой – сумрачный и с виду неповоротливый тяжеловесный мужчина в детективном плаще, с искусственным сердцем, с огромными металлически нашлепками с часами на руках и ногах, в стиле ретрофутуризма. Нашлепками этими Часовщик в частом рапиде дробил часами головы, руки и ноги магам и их ручным монстрам, лихо скакал гигантским телом по темному зеленоющему экрану. Играл Часовщика пожилой голливудский атлет, некогда звезда подростковых боевичков, Часовщика в молодости, щеголя с элегентными часиками на цепочке (всего пара сцен) – голливудский стриженный красавчик: своего рода разворот стрелок, обращение времени вспять отно-

сительно нашей неотвратимой реальности. Если соположить запомнившееся мне из этой вакханалии боевых и патетически-речевых эпизодов, получался следующий нарратив: молодой Часовщик работал кем-то вроде вышеупомянутого суперагента на организацию технократов, борющуюся против волшебников во времена этак начала века двадцатого; на последнем трансконтинентальном экспрессе в гипотетическом четырнадцатом году отправился он на особо важное задание и повстречал в поезде прекрасную шпионку противоположной стороны; судьба их свела и разделила, не дав узнать краткого мига обладания, войну же выиграли маги. Маги были, кстати, люди довольно симпатичные, сплошь из благообразных полноватых стариков, самоотверженных юношей и доброжелательных, пусть и не слишком привлекательных девиц. Именно этим безобидным созданиям в одной из сцен раскраивал черепа и ломал конечности разъяренный Часовщик. Часовщик этот тайно провел в заброшенной лаборатории сверхсекретный эксперимент, превратился из проворного смазливового покорителя сердец в кибернетическое почти бессмертное чудище. Он отыскал свою любовь, убил ее мужа и возвестил беременной женщине, что дождется, пока родится у потомков девушка, в точности ей подобная, и забереет ее себе.

Пожалуй, последовательность сцен, отвечающих за умыкание, наиболее запоминалась в потоке клиповой режиссуры. Среди пустынных зимних антиутопических дворов бре-

дет процессия: дочь некогда возлюбленной шпионки, неряшливая кудрявая тетка с волшебным посохом, ее муженек с очень представительной и солидной бородой. За ними, по глубоким сугробам, танцуя, бросаясь снежками, прощаясь с жизнью – юная внучка без волшебных способностей – ее должны над котлом с зельем изнасиловать и оплодотворить несколько шагающих в сторонке молодых хулиганов с баскетбольным мячом. Потом ценой жизни беременной роды ускорят, в результате родится ребенок, совершенно точно магически одаренный. Часовщик издали провожает процессию. Крупным планом – лицо и вздымающиеся руки жертвы, когда она беспечно раскидывает снежную пыль. И вот грузно, нерасторопно Часовщик всходит по лестнице, попадает в что-то вроде советской коммунальной квартиры, одним ударом руки убивает бородатого папашу, на кухне топит в вареве истеричную мать, затем в чем-то вроде тесной раздевалки расправляется с галдящими насильниками, что уже примеряли ритуальные черные балахоны. Наконец, через долгие сложнейшие пролеты и коридоры Часовщик всходит в спальню, где сидит, болтая ногами в шерстяных теплых носках, бедная жертва. «Пойдем со мной. Смерти не будет», – уводит ее за руку Часовщик, спасает от неизбежной участи, отправляется в те края, куда волшебникам путь заказан. Этот эпизод я смотрел с большим вниманием.

Закончился фильм, мы спускались к выходу, неспешно, в молчании. После темного зала и громящего серо-зеле-

но-коричневого хмурого экрана золотисто и пурпурно светились кафе, слух чутко ловил переменчивое щебетание обыденных звуков, тихой музыки. Я сжимал горячую ладонь моей спутницы, та была будто оглушена, задумчива, по-детски любопытно приоткрыла губы, на лицо ее падал электрический и одновременно солнечный из-за стекол у выхода свет.

– Знаешь, Андрей, что я тут нагуглила, – копаясь в телефоне, сказала она уже в машине. – Прикинь, Андрей, а эта девушка – ее Часовщик с собой взял, она совсем не внучка той самой противной, ну, я про девушку, которую он увез. Тут какие-то укюросы в интернете теорию написали, что типа каждый цикл матрицы, каждые три поколения Часовщик приходит, убивает там родителей, все такое, а внучка очередная ему раз в зубы – нет, не пойду с тобой, останусь ребеночка рожать. И он так целую тыщу лет приходит, пока одна ему наконец «да» не скажет. Андрей, вот это они упоролись, тысячу лет ждать свою любовь, а?

– Да, пожалуй, действительно долговато, – не мог не согласиться я.

Глава 5

– Дрюш! Останови, Дрюш! Смотри, – мы плавно притормозили на пустом изгибе спуска к реке – где тормозить, в сущности, без крайних обстоятельств не следовало, где среди маленьких деревянных домиков и зарослей не предполагалось парковки. – Погоди, вот! – проплывали мы мимо, она указывала куда-то за меня, и «Аккорд» остановился окончательно. Шалунья выскочила из ремня безопасности и автомобильной двери, вышел я, пока она оббегала автомобиль сзади и хваталась за мою нерасторопную лапищу.

– Да, ясноглазая Марго, что ты заметила?

– Глянь, Дрюш, какой гаражик! Это правда гараж? – потянула она меня назад через дорогу, от спешно брякнувшей вслед сигнализации. – Из него выезжают, выезжают?

Белый кирпичный гараж, прилепившись к одному из одноэтажных старинных домиков на этом протяженном спуске, отсекала от улицы крошечная яма – крепостной ров, на который накинута была мостик из темно-рыжих, почти коричневых металлических трубок, с прозрачной штриховкой листовых промежутков между ними. Мы подошли к гаражу сверху. Трубки бело блестели и апельсиново грелись в солнечных лучах, светлела пересеченная их тенями канава с кустиками. Дозорная моя и я вслед за нею подняли головы: по другую, правую сторону дороги домики карабка-

лись сложным разветвленным узором, каждый по собственному прихотливо-ступенчатому пути, на высокий холм, однако вершина холма оставалась заросшей и необитаемой. Ее занимали извилины сухих деревьев и кустов под тонким, уже не летними лучами вытканым теневым хаосом. В прозрачном воздухе коряги над городом возносились с нежным, чуть кремовым, но суховатым оттенком, а их окружала густая, еще болотная зелень с редкими свежими клочками желтизны – но под лучами и она незаметно желтела.

– Да, он выезжает из гаража, а машина колесами на флейте труб выстукивает собственный секундный ноктюрен, воображая, – улыбнулся я, глядя на ее поднятый мягкий подбородок, на устремленную к пейзажу голову.

– Дрюш, это ж просто круто! – особенно высоким девичьим голосом возвестила она. – У меня один одноклассник, придурок вообще такой, ляпнул один раз: махать, стебово! Типа ему вот сейчас махать просто. И мне махать!

Рассекая воздух руками, бросилась она назад, перерезая дорогу несущемуся еще вдаль, словно убегающему с берега синему автомобилю, из которого – мелькнул секундно – вырвалось что-то про цветы, пока он миновал, разделяя ее и меня. Усаживаясь за руль и заводя послушный наш транспорт, я ласково похлопал мою утреннюю фею по плечу.

– А у тебя глаз, девочка, на некоторую сложную живописность. Гараж и холм, холм и гараж. Ты не желала бы поучиться рисовать?

Вопрос я задал во многом потому, что с пологого спуска к набережной, с ускорением, с надвигающимися переулками с крошечными забытыми киосками, с глыбами и башнями бело-розовых особняков должно было до светофора, в завершение протяженного пространства улицы мелькнуть одно здание. Я проезжал едва ли не каждый день мимо, за поминал, кажется, отдельные признаки (оно окружено деревьями, у него внутри ограды котельная, стены его, по-моему, выкрашен оранжево-пурпурным или темно-алым, в нем три или четыре этажа) – но целостный образ его в памяти не оставался, избегала отпечататься. Как будто бы в недрах этого здания сохранялась некая изначальная забытая трагедия. Как будто его пасть и окружающий мир спусков к реке однажды поглотили и захоронили внутри нечто бесценное, и оно теперь уклонялось от воспоминания и возмездия. Я не знал или не помнил, что именно там произошло.

– Не-а, Дрюш, я ж лентяечка, – лукаво погладила себя по волосам моя красавица, словно легкую перхоть стряхнула, пока плавно замедлялась перед поворотом на набережную машина. – Я просто жест полную рисовала, когда мелкая была. И почерк у тебя, Рита, просто ад, это мне любой препод, кроме тебя, вечно гундит. А-ах! – театрально зевнула и расслабленно, неловко потянула руки с сжатыми кулачками.

По набережной мы неторопливо гуляли, соблюдая осторожность и не касаясь друг друга, а когда навстречу попа-

дался кто-нибудь случайный, я особенно тщательно отделялся, сердито изучал телефон, изображая серьезного и делового, несколько даже скучающего старшего брата, которому зачем-то навязали, оторвав от работы, неумеренно резвую сестренку. Асфальтовую дорожку укрывали светлые колеблющиеся тополя с бледной листвой. Справа от воды отделяли заросли того, что я обобщенно именовал камышами, хотя располагались они, собственно, на берегу. Отсутствие прикосновений, защитный покров, дистанция между нашими пальцами сладко обостряла предчувствие того, что неизбежно произойдет позже: язвят и волнуют присутствующие рядом пальцы любимой, до которых нельзя дотронуться! В потенциальности ее касания – наслаждение, мысль о рае. Она хохотала и пританцовывала. Мы фантазировали вместе: в город нахлынули захватчики, например, антропоморфные лисы из соседнего заповедника, а мы – я, она, неважно кто – пробираемся под водой, выныриваем здесь в этих камышах, и потом, дерзкий, но абсолютно положительный лазутчик, на корточках и держа в правой руке благородно-черный автомат с тяжелым прицелом, пробираемся сквозь эти твердые, коричневатые стебли, разгребаем свободной рукой их сплошную податливую стену. Ужасно хочется в эти заросли пробраться и разузнать, что за ними таится. Главное, чтобы не гадюки – моя серпентофобочка никогда не созерцала настоящих змей, но заочно панически их боялась. Под ногами, на выбитом, беспорядочно структурированном асфальте

отмечены были цифры и белые линии – расстояние, метры. Осень наступает, погода хорошая, светлая, а сама эта осень представляется мне тревожной, но, по вероятности, весьма счастливой, пусть учеба и отсутствие моих репетиций способны наложить некоторые ограничения.

А дневник брата начинался с угрюмой и ранней весны, с предварительных записей. Зима мучила Женю и сковывала, нагнетала все гуще мечту о свободе бесснежных передвижений. С конца февраля и до начала апреля лед и сугробы таяли с неуважительной, тяжелой, порою возвратной медлительностью. Брат боролся. Обманывало солнце, словно пять лет назад, просиявшее во второй половине февраля с запахами скорой весны. В дневнике несколько записей – рассечь заснеженную ледяную клетку!

На мартовские праздники, следуя велениям календаря, а не погоды, брат собрался и отправился бежать по давно выношенному и полузабытому под скользко-белым покровом маршруту в легкой куртке, даже не обклеив совсем не зимние кроссовки, о чем повествовал с легкой исследовательской иронией. Вот, стуча ногами, навстречу нам гладко несется, в майке с мотивирующим лозунгом, в бандане, с хвостиком, с бородкой мускулистый поджарый парень, ровно дышит, от него отшатывается в сторону моя замечтавшаяся лазутчица.

– Ой, меня какой-то говнарек-гитарист чуть не сбил! – с усмешечкой, выставив вперед руки для равновесия, заме-

чает она и затем почесывает вздернутое плечо.

А Жене с его далеко не спортивной комплекцией, наверное, не быстро бежалось влажным сумрачным снежным днем, под нависшей стыло-серой твердью. Не по дорожке, а сбоку, топча снег и выискивая среди льдов, иногда хрупких, ненадежный путь. В противоположной стороне поля неспешный лыжник конкурировал, обозначая схождение мечты и зимы в один момент пространства и времени. А в другой раз брат рискнул спускаться с холма, покатился вниз раз, еще раз, съехал, изляпанный снегом, и обнаружил, что от падения разлетелся ремешок часов, тонкую палочку, на которой он держался, погребли мгновенно снега. Снять перчатки, уложить часы в карман. Одинокая ветка нависшего куста мягко и почти ласкающе зацепилась и убрала с головы шапку – вернула назад, впрочем. Пусть на подъеме где-то впереди черно маячила фигура старика с огромной недоброй собакой, из-за чего приходилось замедлиться, а затем остановиться, в то время как сам подъем грозил осклизлыми ледяными глыбами, подвернутыми ногами. Главное – не спешить, впереди столько времени, а пока лишь отбегать в качестве разминки перед весной положенные минуты и с замерзшей снаружи, но жарко-потной под покровами одеждой возвратиться из ледяного непроходимого королевства к одной из крошечных тихих остановочек, где никого нет и привольно под музыку ожидать автобуса, что заберет домой. А еще брат, по-моему, где-то обозначил за февраль необыкновен-

но солнечный день, абрикосовые отблески на полурастаявших асфальтовых дорожках и стеснительность вращающегося по одной дистанции туда-сюда бега среди занятых, укорененных в этом незнакомом пространстве людей. Первый раз тут бежишь, а навстречу уже так рано – куча народу.

Мы, прогуливаясь, возвратились к более цивилизованному участку набережной, где вода отделялась высокими перилами. Безлюдье, способствующее спокойной и размеренной беседе, однако, здесь сохранялось еще сильнее. Остановившись, мы засмотрелись на спокойную воду, небольшой островок рядом, на четкие в дымке металлические башенки, что связывали над водой поднебесные провода.

Она наклонилась и оперлась локотками на черный чугун. Она обернулась снизу вверх на меня. Между смеющимися долгими губами блестели зубки. Глаза прищурены, персиковы на солнце щечки. Я руки убрал из великолепной мизансцены, передо мной представшей. Она, между двух перспектив – перспективы пустынной набережной аллеи и перспективы темно-синей воды, острых башенок, далекого берега с бледно-кремовыми строениями – она замыкала собой треугольник зрения, знаменовала собой вершину и по-детски хитро улыбалась и посмеивалась. Ветер налетел, отчего посыпались ей на лицо разрозненно волосы, длинной темной волной закрывая ее рот, тонкими линиями рассекая большой лоб.

Я вспомнил, как сегодня утром, в брошенном дневнике

гораздо дольше, непрерывней, холодней дул и дул раннеапрельский ветер в комнату брата. угол дома ровно приходился в воздушную воронку между двумя другими высотными строениями. Маленькая хмурая комнатка пронизывалась гулким воем, становилась холодней, а Женя в халате и свитере сидел еще, с накатывающейся температурой, перед монитором. У него садился голос. Несколько суток подряд, под регулярные завывания неуступчивого апреля, обмораживаясь при входе в покинутое жилище, было радостно выздоравливать, избавляться от тающего недуга, лежа на другом непривычном диване и читая такие понятные когда-то и такие сложные теперь фрагменты великого француза об универсальном соотношении субъекта и объекта, будто то артист и публика, влюбленный и другой, автор и герой. Ноги укрывало одеяло. Компьютер на маленьком столике у глубокого кресла стоял. Ходил Женя по квартире, кашлял и чихал, избегал морозной стороны. Много и хорошо думалось. И было приятно закутывать горло в шарф, тепло одеваться и так выбирать в магазин, в аптеку. Кресло с подушкой, низко стоящий экран, длительность протянутых до мыши и клавиатуры рук, жесткий диван, платяной шкаф обеспечивали небывалый, незнакомый опыт ценности бытия. А еще мерещилось и не верилось брату, что, если когда-то в этой комнате он играл на полу в игрушки, то теперь этой весной воссоздаст в рисунках (он уже лет пять ничего не рисовал) и записях то недоигранное, важное и высокое, что обременяло

и требовало к себе внимание, что многие годы не дает покоя и обрывается, висит обрубленной веревкой, которую не натянуть снова.

Ветер лупил и лупил, остужал, мело даже, горел целый день свет. А надо мной и моей спутницей располагалась яркая лазурь.

– А мы с Тошкой зимой, представляешь, Доюш, сюда дотопали и чего-то на лед спустились. Погода ноль градусов, я его потащила сначала до острова, а потом вообще на другой берег, брутальненько так. Льдины под ногами разъезжаются, мы чешем. Мы в зоопарк очень хотели, пришли, а он уже закрылся. Дрюш, а ты бы меня перенес на тот берег на руках? Или переплыл бы со мной на шее?

– Тебя, моя любовь, я и не через такие грозные высоты перенесу, – заметил я небрежно, избегая допускать свои лапищи в поле зрения. – И не так еще далеко утащу.

Одинокий волос зацепился за ее губу, она одним пальчиком отбросила его назад. Разворачиваясь, чуть не упала и не разбила колено, отчего возникла необходимость тактично поддержать ее, тронуть грядущее чудо. Жаль, что после множества других остроумных подобных внезапных прикосновений уже не отпечатывалась жарко и подолгу на ладонях. Ух, немало же с четырнадцати лет перетрогал я ладошек. Но подобного удовольствия, разумеется, не предоставляла ни одна из них, даже в ностальгически-рассеянной ретроспективе.

Она возвратила телу равновесие, чуть закрутившись про-

тив часовой стрелки. Я припомнил, какие последствия имела дальнейшая и упорная борьба Жени за право вольного следопытства в священных его местах. Он писал, он верил, что с таянием и исчезновением снегов они раскроются свободно, но вмерзшие когтями в почву грязно-сеledочные остатки морозного чудища на пути от остановки сопротивлялись окружающей зыбкой черной мешанине. Шлепал брат по размокшей, разъезжающейся под ногами грязи, постепенно отягчались ноги, чавкали на них колодки, и желанного просвета впереди не намечалось: тощие деревья, лужи и перепутанный рельеф земляных комьев, готовых от малейшего касания развалиться на липкие слоистые пласты. Едва выбрался из цепкой десятиградусной трясины весь ею запятнанный брат. Кажется, он там одного пожилого человека заметил, что дважды попадался и, единственный, одиноко путешествовал. Почва сочно упивалась остатками снегов. Женья в шутку, припомнив школьную анекдотическую мифологию, обозвал земляную хищную субстанцию oil'ом – черной невкусной дрянью, которая служила топливом для воображаемого концепт-кара, сделанного из учителя физкультуры.

Поглощал и воплощал мерзость ежедневности oil. Выждав неделю, Женья выдвинулся вновь. Относительная сухость и теплое солнышко внушили доверие, отчего спустился брат вниз, в долину, где, однако, змеились клубками холодные удавы из глины и песка, стекали ручьи – неприветливый хаос. Не возвращаться же назад! – смело он решил

и двинулся сквозь кусты, отыскивая сухие дорожки. Мокрые подвижные ветви теперь прикасались к непокрытой голове, к волосам. Прыжки и медленные маневры сквозь черные кучи, обросшие травой. На противоположный холм брат взобрался, а там предпочел не развернуться обратно, чего никогда не любил, но тропкой неизведанной продвигаться вдоль ручьев на дне долины. Куда ни выводила тропка, как ни тщи-лась она сблизиться с дорогой, ее неизбежно обрывал ручей во рву спокойной высокой грязи; впрочем, и дорога присутствовала довольно условно. Этот ров отсек любой выход назад, но так обнаружил неизвестно кем оставленную сла-бину, признак обманувшей процесс человеческой мысли – тонкое перекинутое бревно. Брат решил пройти по нему, подбежал, приготовился, встал на него, сделал шаг, другой, упал ногами в матовую воду, выскочил на относительно су-хое место. Пробежав еще немного к уже преобразившимся, сытым водой возвышенностям, задумался Женя о том, что вместо блаженного бега выходит утомительная пародия, че-реда остановок и борьбы с обстоятельствами, что тело устало и не хочет больше двигаться, а солнцу не следует чересчур верить. Он пошел до остановки. Выйдя из автобуса, до до-ма он уже хромал, правой ногое внезапно показалось край-не неудобно и жестко впиваться в бок кроссовки. Однако со снятой кроссовкой, дома не исчезла та же по правому кон-туру глубоко залегшая линия боли и неудобства, напротив, ограничила даже внутриквартирные перемещения и наме-

нула, что теперь-то, когда мир высохнет, побегать, может, и не удастся, что она иногда надолго и даже навсегда посещает или, во всяком случае, не забывает о своем присутствии иногда напомнить. Раз ошибся и потянул – так оставайся холить самодовольную и бесполезную ногу на диванной мягкости, а лучше в воздухе, который менее прочего язвит неуступчивую полоску.

– Дрюш, глянь, какая красотища! – мы разворачивались и возвращались с недолгого приятного моциона. Она обвела раскрытой ладонью город, что поступательно возвышался от набережной, вырастая все более тяжеловесными строениями, изымая постепенно растительные завитки. – Такой ты с моста не увидишь красотищи, когда едешь.

– А что это за дом с темно-розовыми балконами? – указал в отдаленную высь я. – Никогда по этой улице наверх не взбирался.

– Фэээ, новый какой-то, наверное, – поправила она джинсовое платье.

– Мне, моя хранительница красок, этот кремовый дом и его сиреневые балкончики как будто знакомыми кажутся, как будто он строился и параллельно сторожил путь куда-то, к кому-то? – я эффектно потер подбородок. – Только вот к кому?

– Хи, как он может параллельно сторожить? Он даже не параллельно улице, наверное, стоит, – отчаянно сощурилась, распушив ресницы и почти сонно смежив веки, моя

слепнущая от занятий любовь.

– Оставь школьную геометрию, – ответил я.

Следующий кусок дневника успел я лишь проглядеть предварительно до ее звонка. Брат восторгался. Такие милые люди, оказывается, его ждали, все приняли – полужнакомые – в холодной аудитории – на собрании выпускников, а была еще уютная светлая комната с докладом, немного случайного внимания и добреньких улыбочек от тех, с кем Женя никогда на протяжении учебы не общался, а они оказались веселыми и далеко не столь страшными. И теперь, после десяти дней отдыха, он вернул за час бега к жизни ногу, а священные места облачились в декорации всякого приемлемого пейзажа из сентиментальной прозы – голубенькое небо, редкие облачка, весенняя легкая зелень травы и деревьев, сухая рыжеватая земля – а также наполнились тем, чем с тяжелой кропотливостью украшала, добиваясь реалистичного эффекта, пейзажи авторы века девятнадцатого – ароматами, звуками какой-нибудь птицы, какой-нибудь сомнительно-щегольской диалектной номинацией флоры. Флора цвела. Было очень тепло. Был смысл. Там обрадовались Жене, там Женю вновь ждали. Наконец-то была свобода бега и долгое предвкушение будущего. А я, Андрей Чарский, схватил таки Марго посреди пустой площади и вцепился в нее (хотел дописать для пущей иронии – с кровавой болью) поцелуем.

– Дрюш, как в следующий раз гулять пойдем, я опять та-

кую офигенскую погоду нагадаю, – заметила она. – Ты же знаешь, я умею правильное че-нибудь про себя сказать, и дождик не прольется.

– Ах, лист опавший, колдовской ребенок, словом останавливавший дождь, – выходнул я. – Поехали.

Глава 6

Ух! Бах! – обрушился я с размаху на уже остывшую кровать, вокруг нее валялись сметенные бумаги. Так осыпается листва после жаркого лета. Я распределил максимально свободно и далеко тело, чувствуя каждой частицей кожи прикосновение мягкой волнистой постели. Уже вечерело. В мышцах отдыхала сладкая двойная боль от вчерашнего и сегодняшнего усилия. Подумать только, какие-то полчаса, нет, час назад мы тут валялись еще, а теперь она дома, выслушивает однообразный отчет мамыши, отвезенная мною самим туда же понапрасну, вместо чтобы остаться – а впрочем, я взъерошил волосы и довольно, счастливо хохотнул. Приподнялся и опять упал, разбросав руки. Было какое-то утонченное, редкостное наслаждение в том, чтобы устало потянуться с подчеркнутой неловкостью, взять с пола позабытый дневник брата и после всех невообразимых минут, какими щедро одарил меня в очередной раз день с возлюбленной, приняться за столь горькое и безрадостное чтение. Я любопытными пальцами отлистал дневник до нужного места. Мой брат часто выражался довольно эвфуистически – то есть метафорами описывал многое из самого непередаваемого, для него невыносимого. Я, однако, принялся за чтение.

«Вчера позвонили. Теперь послушный, на все готовый –

соглашаюсь. Завтра день пропадет. Только год назад прогулял внаглую – не отвертишься теперь, долг платежом красен, обязан подчиниться. Сиди и слушай доклады школьничков. Да, приеду, замещу, не сомневайтесь во мне. Тем более, я вам всем сейчас так рад!

Пробираюсь я в нужное время к родному заведению, а вдруг рядом останавливается маршрутка номер 16 (Вуз – Неизвестное кладбище), а из нее выскакивает едва ли не на ходу, ловко – кто бы вы подумали? Некрулова. Только, хотя на улице тепло, она в пальто клетчатом и сигарету жует.

– О, здорово, ушастый! – она ко мне.

– Здравствуй, – говорю, – Некрулова. Как замужем?

– А-а, – рукой машет. – Оставьте, сударь ушастый. При чем тут я? Речь-то о тебе.

– Некрулова, я ловлю себя на мысли, что у тебя голос не такой. Точнее, я и не помню, слышал ли я по-настоящему когда-нибудь твой голос дольше нескольких секунд, дольше, чем ты кашляла.

– Ну где уж ты его, ушастый, слышать мог! – ехидно ухмыляется Некрулова. Как будто голосишко у нее правда выше стал, а тараторит без умолку. – Если ты со мной не разговаривал никогда, а вместо этого на задней парте зависал и тарасился, и сказочки строчил?

– Не называй, пожалуйста, трагедию сказочкой, – я огрызаюсь.

– А сам-то несколько раз сочинял сказочку про Некрулову

и Ушастого, – по-девчачьи Некрулова пищит. – Вот, погоди, я тебе образец стиля приведу.

И Некрулова не без садистского удовольствия достает из кармана мою темно-синюю чешуйчатую тетрадку. Такую старую, что на страничках внизу буквы размылись. Как из тумбочки в квартире достает. В тумбочке их много, а сны дорисовывают вдвое.

– Ну так вот, – Некрулова палец слюнявит и принимается цитировать. – Сказка про ушастого... Эпиграф, доска и фигуры, контуры будущего повествования, тут банальности про каких-то уродцев. «Тема в том, что, кажется мне, будто я втюрился в одну девицу из нашей группы. Хреново, а?» – и это он про свою Некрулову любимую так выражается! Ну, дальше самобичевания всякие, а вот опять про меня. «Девушку, которая вроде бы ферзь сего романа, зовут Вика Некрулова. Сейчас я сижу на последней парте, изредка посматриваю на нее из-за спины какой-то дряни жирной. Она же тем занята, что валяется на боку, прижав правое предплечье к макушке, и то ли залипает, то ли с соседкой перебалтывается, то ли слушает шум... – Непонятное слово, ну и почерк же у тебя, ушастый. – То ли все это одновременно. Вот жирная загородила ее. Она (она в смысле не жирная, а псевдоферзь)...» Ушастый, вот какого лешего ты меня псевдоферзем назвал? По-твоему, это сильно комплиментарная прям кличка? Ну вот: «Она высокая, грациозная, в темно-красной свободной кофте со спадающими рукавами, с каштано-

выми слегка вьющимися волосами. Впрочем, не исключаю, что не каштановые они никакие и совершенно прямые. Это краска на них иллюзии размножает. Рожа у псевдоферзя всегда кислая...» А вот за рожу тебе самому в рожу надо дать как следует. «По другой версии, она – беан ши. Хоронит каждый день кого-то, смерть криком предвещает. Во я влип, а! Увижу у нее гребешок серебряный – значит, сто пудов баньши. Будешь тут веселым». Блин, ушастый, у тебя ассоциации с нашим институтом какие-то совсем готичные.

«Кроме вышесказанного, не знаю про нее ничего. Не знаю, как ее зовут, как она выглядит, не знаю в том числе. Потому что выглядит она так, как выглядит, после следующей последовательности:

- а) сидения до трех ночи за конспектами тупыми и прочей бумажной хренью;
- б) сна в течение аж пары часов;
- в) А на пары-то к восьми!

Вот после того, как поднялась она, добралась до зеркала, хлопая глазами, смотрит на свое бодрое и энергичное отражение и зевает, лохматая – вот тогда она похожа на себя...» Вот скажи, ушастый – к стилю и словечкам я даже не придираюсь уже – ты что, правда меня такой вот жаждал увидеть, м?

– Может быть, – отвечаю я, пока направляемся мы к дверям.

– И-и, – тоненько она протягивает и взяла оступилась, об-

ронила линзу из глаза. Пока подбирает, говорит:

– Помнишь, ушастенький, ты уже то ли на четвертом курсе, через год, слышал, как на меня наезжали мои подружки-ботанички, что я, мол, в поезде такая инфантильная и несамостоятельная, все не могла найти линзы, когда все собирались на практику ехать, м? И типа металась и не могла к двум здоровым парням обратиться?

– Я помню свою острую жалость и чувство, что в чем-то я в тебе глубоко не ошибся, что-то за тобой то самое разглядел. Я подумал: я и правда ее любил. Должно быть, не зря.

– Ой, расстелся, сентиментальный ты мой, – Некрулова по плечу язвительно хлопает и жадно докуривает. И потом вставляет в глаз поднятую с земли линзу.

– Не мешает?

– Нее, я взросленькая, сама линзы всегда подбираю.

– О да, пузырь земли!

– Какой я тебе пузырь? Нет, спасибо, я худенькая и раздуваться не горю желанием. А теперь через линзы своими сломанными глазами я даже лучше вижу, как ты волочишь свои будущие тяготы.

– Зайдем, Некрулова, – приглашаю ее. – А то я опаздываю. Входим.

Отыскиваю пропуск, а Некрулова взглядом все обводит и пальцами так делает, будто присвистнуть собирается или охнуть. Губы раскрыла, волосами встряхнула. Поднимается она за мной.

– Ушастый, вспоминаешь, как ты придумывал, что я сюда прибегу? Кругом пожар, все горят и дохнут, а тут, у выхода, ты на окне так пафосно сидишь, ножкой болтаешь, мол, в плаще, настоящий супергерой, время останавливаешь? – призадумывается Некрулова. – А главное, что я в разговоре тебе покоряюсь и даю себя? Какой ты быстрый, не?

– Моя вина, а не беда, что я наивности образчик, – отвечаю я.

– Лебеда.

– Лебеда?

– В смысле, белиберда! – заявляет Некрулова и ржет мне в лицо, окурок кинула на пол и руки в карманы засунула.

– Ты называешь мои фантазии и теперь белибердой, – скорбно говорю без вопроса.

Мы проходим по коридору далее.

– А вот тут я тебя караулил не единожды, Некрулова, во время пар, у перил лестницы, – тяжело выговариваю я. – Мимо люди проходили – преподша, условный развеселый приятель – думаешь у них спросить, что вот я люблю своего псевдоферзя, и что ей сказать, когда она, псевдоферзь, Некрулова, вызывает отвращение и когда она спустится, может быть, одна, без подружки? Во время пар так пусто.

Сажусь на толстые перила. Слева долговязо Некрулова к ним прислоняется.

– Только гардеробщица смотрела.

– Что ж ты молчал?

– Из столовой и сейчас пахнет жареной кислятиной и стоевшими пирожками с капустой. Ты бы ответила?

– Ушастый, ты охренел?

– А потом я дождался, – Некрулова молча отходит далеко, к столику и зеркалу, вглубь гардеробного пространства. Она сбрасывает пальто, быстро разматывает шарф и останавливается. Затем, как пять лет назад, долго прихорашиваясь, медленно, посреди темно-коричневого гардероба она очень равнодушно наматывает шарф на шею и не оборачивается. Никого больше кругом нет. Тихо. Стою, смотрю – непрерывно. И ни на наш к ней: завораживают кольца мягкого толстого шарфа. Некрулова надевает пальто, завязывает узлом пояс и лишь затем оборачивается и подходит назад, приснула в кулачок.

– Чего, ушастенький, так обомлел?

Я и Некрулова поднимаемся по лестнице.

– Некрулова, скажи мне, – все мрачнее спрашиваю я. – Почему ты каждую перемену бегала в столовую?

Некрулова понуривает голову, выпячивает нижнюю губу, делает кислую рожу и скрещивает руки на груди. Но ступеньки под ее ногами меняются слишком неспешно, не тогдашней скороговоркой.

– А почему ты каждую перемену выходил побродить? – грустно парирует Некрулова. – И по поводу моего ответа: помнишь же, что тут было?

– Да. В последний день я тебя таки подкараулил. Совсем

измучен молчаливой и бессмысленной любовью был.

– Да уж! – гавкает Некрулова. – Кругом народ, а тут он слева выскакивает, мол, привет, Вика, зачет сдала, замогильным голосом.

– А ты понуро отвечаешь «да» и спешишь мимо одеваться.

– Эх ты, прогульщик, внизу все торчал, а спину мою согбенную созерцать – ни-ни? – поддразнивает, наклонившись ближе, Некрулова.

– Разве ты бы одна вышла? Я, знаешь, с тобой хотел говорить, а не в присутствии многочисленных товаров.

– Мно-го-чис-лен-ных, – по слогам язвительно повторяет за мной Некрулова.

Идем по узкому коридорчику, в его расширении Некрулова вперед забегает и руки опять скрестила, надулась и передо мной стоит. Я вправо – передо мной, влево – передо мной, пройти не разрешает.

– В твоих каракулях, ушастый, так стрелочки криво нарисованы, что не поймешь, как твоя любезная Некрулова тогда стояла, – скалится она из-под суровой маски.

– Но стояла же и преграждала мне путь. Ты что, Некрулова, не знала, скажешь, что я всю перемену хожу туда-сюда вдоль стенки, – за руку ее пытаюсь ухватить, чтобы доискаться истины. – Почему специально отделялась к стене из толпы, почему пройти мешала, загораживала опять и опять дорогу?

Некрулова уклоняется, отпрыгивает и приплясывает.

– Думала ты, что для меня твоя туша, твоя преграда станет намеком, признаком? Не думала? Но в совсем безмолвном и безвоздушном пространстве любой жест, любое движение – знак тайный. И наступала зима, твой ушастый думал в кого-то влюбиться, чтобы от этих коридоров и аудиторий не свихнуться. А ты становилась, перегораживала.

Некрулова поворачивается спиной. И я к ней своей спиной. Цепляется за руки, чувствую ее лопатки.

– Умереть дай, Некрулова.

– А ты моего голоса не помнишь.

– Я на пути к исчезновению, рано состарился.

– Мы не говорим.

– Ты не улыбаешься.

– Я кричу – ты ничтожество!

– Не нужна такая!

Некрулова выпускает пальцы из своих вьющихся, длинных, отскакивает и по проходу дальше танцует, приговаривая:

– Зы-зы-зы, зы-зы-зы, зы-зы-зы, – язык показывается, ручкой машет.

– Зудишь, заноза! – рычу на нее.

– Хи-хи-хи! Принимает несколько шажков в сторону, чтобы пораскинуть коротенькими мозгами о какой-нибудь контрольной за любовный знак у нас кто? Правильно, ушастый! Все вы, подлый молодой человек.

Некрулова новую сигарету достает из кармана и засовывает за ухо.

– Припоминаешь, ушастенький, как ты с беломориной за ухом здесь расхаживал и проходящих распугивал, молчал? Великий анархист!

– Я ждал тебя тут каждое утро. Я из соседней аудитории твой кашель слышал. Потом, когда уже все давно кончилось, я тебе здесь на подоконник положил розу самого мерзостного, желто-зеленого оттенка, какой только отыскал. Меня еще разбитной сверхсоциализированный пошляк у входа веселенько спрашивал, кому цветы несешь?

– Мог бы и покрасивей на восьмое марта подарить, – заявляет Некрулова. – Дай-ка я почитаю, что ты еще за намеки мог принять, раскрасавчик ушастющий. А ну не гонись за мной! – и начинает вышагивать и тыкать пальцем в тетрадку, ухмыляться. Бродишь за ней неприкаянный. Она, смакуя, декламирует:

Диалоги о вечном

1. Но красоты их безобразной я скоро таинство постиг

Итак, поздравляю с выводом: я втрескался в размалеванную нудную и грустную прожорливую трусливую Вику Некрулову... Хе, ушастик, ничего не напоминает, м?

2. Так вот вы где, вас мне и надо! Вы съесть изволили мою морковь?

Пока ждали в очереди мы с корешем, по полной уржались. Входим, билеты, значит, разложены. Тут сзади какая-то

телка непонятная левая подходит. *Таак, пошли эти уродские наркоманские пассажи и неадекватный юморок!*

Кореш. Тупо ржет.

Некрулова (вроде как тихо). Слышь, ушастый!

Я. Чего надо?

Некрулова. Слушай, ушастик, ты садись вон перед накурологом, вон на ту парту. (В сторону.) Я сяду сзади и скатаю со шпор.

Я (не вкурил, нафиг). Лады, мне все равно, где сидеть.

Кореш. Тупо ржет (он то есть вкурил, и ему клёво).

Накуролог (на измене). Э, нет, милые дети, не садитесь рядочком. Ты, Некрулова, вон туда. Чтобы видна была хорошо. А ты, как тебя, аутист какой-то, сбоку располагайся.

Кореш. Тупо ржет.

Не то чтобы накурологу сия девица интересна была сама по себе, но со шпорами – любопытна до крайности. Мне же она вообще была пофиг, а помню я все это, потому что накуролог обломал. Ну, на измене был: со всяким случается – надеешься на кайф и эйфорию, а тут вместо этого тоска, стрем тотальный, плющит и хреново.

Сижу я, отвечаю.

Я. Э-э-э... Не в теме я, чего вы от меня хотите.

Накуролог. Блин горелый, ну ты хоть скажи, утешь скорбящую душу мою, поведай, почему мир познаваем?

Я. А пес его знает, почему он познаваемый.

Накуролог. Некрулова! Харе списывать, в конце концов.

Ты думаешь, я не вижу? Я же упоролся, у меня приоритеты восприятия измененные, так что чего тут толкуют, не въезжаю, а вот со шпорами во все въезжаю сразу!

Кореш. Тупо ржет.

Вот теперь думаю, сидя дома: и почему я не курю? От этого, конечно, клинит мозги, зато сейчас, может, с Некруловой бы гулял. Вряд ли. Бред все это нереальный, что покуришь – и все круто. Не курите, пацаны.

3. От перестановки мест слагаемых

Как-то приперся уже поздней весной в аудиторию. Как раз в первый раз на лекцию. Какая-то читала их деловая тетка вреднющая, гнать таких надо, между нами говоря. Потом захожу на следующую, народу мало, солнышко светит.

Некрулова. Ушастый!

Я. А?

Некрулова. Слушай, помоги. Передвинь, пожалуйста, парту вон ту на место вон той. А я тебе помогать буду.

Я. Нет уж, обойдусь, сам передвину.

Некрулова. Спасибо.

Зачем понадобилось столы местами менять, когда не сидела она за ними, я не допер. По правде, и не хотелось особо. Весна была, понимаешь, Некрулова? Бегом прочь из вонючего здания, где в окошко только трубы и желтые стенки видны. Туда никакие чувихи с корешами не ходят, где моя дурная репа ногам покоя не дает. Беспечный я был, реальный раздоблай и пофигист. А сейчас не Некрулову же рисо-

вать – а то такую нарисуешь, что испугаешься.

* * *

Кстати, сегодня экзамен был. Что-нибудь крутое типа Хейдса слушаешь, едешь себе, приходишь с утречка. Типа на любимую взгляну разок. Только любимая начала знаки внимания, понимаешь, оказывать как раз подходящие. Чел говорит: пятеро внутрь, заходят четыре, Некрулова среди них (спрятаться?). А пятой-то нет, все на стреме пяты, в книжечки уткнулись. Соответственно, я туда. Некрулова с вполне достойной оперативностью: ой, простите-извините, пищит – передумала я, попозже сдам. Боязно ей. Боится, значит, уважает. В смысле она вполне в теме, что втюрился я в нее не абы как, а по уши и по макушку. Другие объяснения?

4. Следопыт

– Сюда!

– Нет, туда!

Тема в том, что в другой домик прутся зачет сдавать прогульщики коварные в лице меня и просто недотепы в лице Некруловой и еще нескольких телок. Мужик, значит, растолковал, как его найти: по лесенки поднимайтесь и там направо. От чего направо? От лестницы, от кактуса на подоконнике, от толчка, от косяка, который растаман в этом толчке скуривает? А это вы уж сами решайте. в общем, звонок уж минут десять как прозвенел, а встретил мужика из должников один я.

Сижу, пишу. Минут через десять вваливается офигевшая

Некрулова с подружкой.

Некрулова: Здравствуйте, а мы вас найти не могли.

Халявщица она. Видит, я чего-то строчу, она тут же под бок устроилась и скатать, к чужим знаниям притереться. От нее пахло какой-то косметикой, мерзко несло, приторно. А ты еще теперь небось поцеловаться с ней не против, бра-за! Ты затылок почести-то, а не стошнит от таких ароматов волшебных?

Но мужик обломал Некрулову круто. Назадал чехо-то, а ни я, ни она не в теме.

Некрулова. У тебя это есть? Ушастый!

Я. Не-а.

Некрулова. И не знаешь?

Я. Да там на сайте чего-то было, но не читал.

Некрулова (в сторону). Гонит, гонит ушастый.

Но потом еще пара подвалила чувих, они ей худо-бедно растолковали, каким макаром зачет этот писать.

Еще Некрулова спрашивает.

– А ты как сюда дорогу нашел?

– Да нашел уж. Надо, главное, понять, что не направо идти.

Впрочем, я реально тут гнал. Это ж не объяснишь, как я дорогу отыскал... И так далее. Ушастый, друг мой, – закатывает глаза Некрулова. – Вот из чего ты тут любовь себе соорудил? Я прямо теряюсь в догадках.

– Самый значительный вопрос для меня, Некрулова, –

просится мне на язык, когда она бросает чтение, – были ли три коротких бытовых разговора предвестниками нарастающей медленно, но неотвратимо беды либо потом вырваны эти обрывочки из действительной непрерывности? Некрулова, откуда у тебя тетрадка?

– Хы, ушастый, – Некрулова улыбается по-лисьи. – Тебе ж частенько снится какой-то там комод у тебя в комнате или стол, а в нем такие твои рисунки и записи схоронены, каких ты сам днем не видал. Ну, сам знаешь, это у тебя сон повторяющийся. У тебя вот этих рисунков и записей нет, а у Некруловой твоей все есть, – она прижимает тетрадочку к груди.

– Покажи мне их, – прошу ее.

Некрулова только вздыхает наигранно и опять очи горе возводит.

– Ишь, греховодник, все ему сразу покажи!

На третьем этаже приходится еще вспомнить:

– А на маленьком перерыве когда-нибудь без четверти девять я выбирался всегда один, а потом ты одна выходила. Зачем ты, Некрулова, по коридору шаталась мимо с грустным видом, в зеркало смотрелась, на расписание глазела? Тусклый коричневый свет повсюду. На черта ты выходила?

– Ах, я выходила, чтобы ушастик мне нежнейше в любви признался, – Некрулова аж пальцы к щечкам напудренным прижимает.

– Правда?

Она покатывается со смеху:

– Шутник ты вообще, ушастый, ты сейчас обкурился – такие вещи у девушки спрашивать?

Из темной, без окон, части последнего этажа мы переходим в светлую, окнами на тесный безрастительный дворик. Некрулова на пластиковый подоконник запрыгнула и сидит.

– Не пойду дальше, мой миленький, уж прости, – утомленно говорит она и гримаску неприязненную корчит. – Не нравится запах.

Покинул Некрулову – обойдется! – сиди себе пока, однако раздумываю: чего это она вдруг отвязалась? Народу много в помещении, куда захожу? Но в коридорах тоже суетились студенты, школьники, организаторы бегали, что не мешало нам проходить сквозь стены в сердце далекого декабря. Запах. Наверное, я и она в этой комнате вместе не были либо без воспоминаний были.

Народу куча, меня доброжелательно приветствуют и усаживают, в другом углу кафедры какие-то деловитые девицы пиджачные, на стульчиках постарше народ.

Я оторвался от текста и поднялся с кровати, прогулялся по комнатам, потягиваясь. В дневнике несколько раз началась и бросалась, потом распадалась на отдельные кусочки диалогов и оборванные детали сцена того, что произошло с братом далее. Из этих словесных оборванных ленточек да из одного претенциозного фрагмента (*«Впрочем, кажется, та неумная девица со второго курса, что молча-*

ливо составляла наше судейское трио, принимала при нашей встрече, при первой встрече роковой нас за довольно давно уже знакомую пару, чему крайне способствовали и твой волшебный взор, и речи, и смех младенчески-живой, если воспользоваться стихами толком не отгаданного тобой в закатных лучах поэта»), из записанной братом не то песенки, не то стишка мне, заинтересованному читателю, нужно было реконструировать событие, которого Евгений Чарский не написал. Да и мог ли он, будучи сам внутри сцены, воссоздать ее, настоящую, ставящую жизнь вверх тормашками? Разве история податлива, сцены верны – равно и сам он задался вопросом, беседуя с Некруловой, нет ли у любого так называемого события преждевременных знаков или же эти предвестники грядущего уже потом, впоследствии выдираются из непрерывной ткани существования?

В том, что *«определили нас в эту чрезвычайно странную секцию, в звонке моего научного руководителя, в моей необходимости, вопреки собственному желанию, послушаться, в той радости и предвкушении счастья, что колебалось во мне всю весну, и было понапрасну истрачено не на случайную, может быть, девушку в библиотеке»*, в кратковременном ферзе романа годовалой давности, что стояла на фотографии рядом, а это существо поражало своим уродством – самое нелепое, гаденькое порождение родного факультета – заключалась ли во всем этом структура предопределенности? Впрочем, представляю: получив ценные инструкции

и пожелания, даже радостный, хотя пропадет день понапрасну, спускался брат и в родном лабиринте из коридоров и людей, и бессистемных номеров комнат искал аудиторию. Наконец, обнаружил эту небольшую оранжевую комнату, как всегда первый из-за своего одиночества: детей задерживали доклады на заседании, по пугающим фотографиям только знакомое, надменно-серьезное тоже пока не появилось, да и другое, а требовалось ими руководить; Женя начал устраиваться, то есть вольно, как он любил выражаться, прошелся по комнате, сбросил легкую куртку, открыл и закрыл окно, попробовал дверь. Накатывался в коридоре гул голосов.

– Здравствуйте! Нина, – *«А ты деловито вбежала и протянула руку коллеге»*. Воображаю себе эту бархатистую пиджачную Нину, которая заскочила сквозь полуоткрытую дверь, застала неготового, очень радостную, открытую для разговора, маленькую, с белым распахнутым воротничком на тонкой шее, и по этому воротничку стелились и за ушами вились отдельные завитки темных сухих, немного растрепанных волос, с рукопожатием прохладной ладонки, с болтающейся сумочкой.

– Здравствуйте. Очень приятно, Евгений. Присаживайтесь.

– Спасибо!

– Это вы тут в списке? Нам с вами придется вести, быть в жюри?

– Да, я.

– А эту вот барышню?

– Ой, я ее не знаю.

– Думал, что ваша подруга.

Легко же повлиять было на несчастного брата моего. Справа, допустим, устроилась Нина, очень тесно, и наклоняла свое лицо к программе, пока брат листал и передавал ей доклады. Но пока что, после совсем непродолжительного молчания, они разговорились, и в каждом слове разговора Женя ощущал искреннее дружелюбие, заинтересованность, такую, что каждая фраза слипалась с другой, стягивая все ближе, сокращая и разбивая то незримое, что отделяет человека от человека: *«осторожные, робкие, заигрывающие кольца реплик»*.

– Видели программу? По-моему, у нас самая странная секция.

– Правда?

– Я просмотрел. Кажется, сюда просто накидали тех, кто больше никуда не влез. Как в классе моей родной школы.

– А какие еще есть?

– Вот, например, наша. По-моему, в ней я был бы гораздо уместнее.

– М-м, зарубежка, – приблизилась Нина. – Ого, Хаксли, Ремарк... У-у, зэ – зависть просто. Почему я не там?

– А так хочется?

– Ну правда! – грустно-радостно протянула Нина. – И там

преподавательница такая милая, просто мимими.

– Меня больше занимает доклад про Хорхе де Укурса. Представьте себе, прочел шестнадцать романов этого модного латиноамериканца, а про названный здесь – Нехен, кажется – никогда не слышал. Наверное, что-то совсем раннее, – Евгений Чарский говорил рассудительно и доброжелательно, вживаясь в редкую и неожиданную роль, приятную все-таки, главного и старшего в общем и понятном взаимно занятии. – Кстати, как ваше отчество, а то мне вас называть надо будет.

– Нина Леонидовна.

– Нина Леонидовна, вы не эксперт в живописи, кстати?

– Неет, – надув тонкие бледные губы, будто скорбно сказала Нина. – Совсем не разбираюсь.

– Просто нам много докладов, как видите, с живописью предстоит оценивать. Вопрос в том, как. И наглядности здесь у нас никакой. Кстати, я чуть не заблудился, когда аудиторию искал. Представьте, уже забыл, что аудитория тридцать три почему-то рядом с семьдесят восьмой.

– Семьдесят восемь – соседняя!

– Да, туда дети забегают. Не к нам. Кажется, нас забыли и забросили. А может, тоже ищут.

Но лепет и щебет десятиминутного длительного одиночества оборвался, положим, ввалились общей толпой, заполнив маленькую комнату, шелковистые, бело-черные, нередко в галстучках ухоженные и покрашенные, прелестные де-

вочки, в чьи взгляды доверчиво Женя упирался – встречал на свежих лицах наивное, глазами хлопающее, настежь распахнутое равнодушие и презрение, как и подозрительную мимическую скупость на лицах сопровождения. Разговор с Ниной не прекратился, но принял направление более деловое, разделился на спокойные паузы: так должны общаться между собой члены представительного жюри. Опоздав, положим, на сцену вышла недостающая и никому не надобная треть судейской комиссии – сарафанная женственно-полная девица, важная и круглолицая, тонкоголосая, от которой исходило какое-то заунывное ощущение бездарности и шитья. Она никогда ничего не спрашивала и решительно не осознавала, для чего здесь посажена. Но не оставлять же наших героев в абсолютном одиночестве: наличие чуждой девицы слева пусть толкнет их друг к другу дополнительно, оттенит взаимное притяжение.

– Все собрались? Что ж, давайте начнем, опоздавших больше не будем ждать. – Медленно голоса перешли в молчание. – Рад приветствовать вас на конференции. Меня зовут Евгений Викторович, а это Нина Леонидовна...

– Я стесняюсь немножко, когда меня по отчеству называют, – ткнулась в ухо, почти коснувшись губами, Нина. Ее шепоту предшествовало то, что никогда не ощутить мне так болезненно внезапно, как брату: сначала оборачивалось на нежной бледной слабой шейке в белом воротничке невыспавшееся радостное лицо с кругленькими детскими щеч-

ками и чем-то вроде прыщика под нижней губой, всегда немного грустные тяжелые сияющие глаза с темным контуром, а затем, в возвратном движении, пробегали по брату молниями кончики сухих волос. Нина часто в течение мероприятия и почти всегда неразборчиво, но *«неслышно-восторженно чуть более низким, чем обычно, голосом шептала»*, оборачиваясь. Брат, чтобы поделиться своей мыслью, напротив, наклонялся к ней вперед. Он часто смотрел на ее усталый, внимательный хрупкий профиль, тем более, Нина обычно отделяла от читающей докладчицы. Он протягивал ей папки докладов, выносил активно замечания, слушал ее. Дверь в коридор не захлопывалась, ее – непослушную – часто приходилось закрывать

– Какие вопросы к докладчику? У меня не вопрос, но реплика, – Женя же чувствовал себя обязанным конструктивно высказаться, как старший и самый опытный, после каждого выступления. – Вы взяли за основу рассказ данного автора, – поигрывая ручкой, замечал он. – Чтобы разработать танатологическую тему дальше, рекомендую у него же прочесть роман... Нина Леонидовна, у вас есть вопрос?

– Скажите, – очень робко и настойчиво спрашивала неизменно одно и то же Нина, если доклад ей сколько-нибудь приходился по вкусу, – как вы пришли к такой теме, чем она вас заинтересовала?

– Нуу, я читала этого автора, он мне понравился, – мялась и мямлила докладчица. Мне ли, Андрею Чарскому, не знать

логику обыкновенных школьных ответов?

Женя в записях сохранил некоторое воспоминание лишь об одной из выступавших: чрезвычайно патетичной и лишенной всякого чувства самоиронии девице, что с большим пиететом вещала об авторских (вероятно, собственных) переводах женских песен из видеоигр и, скандируя, делая многозначительные паузы, подвывая и возвышая голос, прочла образчик высокого школьнопоэтического ремесла – весьма вольное переложение того, что поет в храме героиня молодой уже японской игры про белобрысого неформала в наушниках и с искаженной, изуродованной синей кожей одной руки – не то даром, не то проклятием. Героиню эту, кажется, впоследствии грубо отнимал у бедного мальчика отвратительный проповедник-старик, вынуждая за нее бороться, помещал в органические хлюпающие внутренности огромной белой каменной статуи, призванной спасти мир от демонов. Девица возглашала:

Слышишь мой голос, зовущий тебя?

Голос, за руку ведущий из тьмы?

Дьявольский крик раздирает тебя

Внутренним жаром, слезами из глаз.

Слышишь его? Так минуй, обойди!

Что ж ты страдаешь и медлишь во тьме?

Можем мы дьявольский крик одолеть...

Только со мной, если помнишь меня,

Бедную деву и с клироса песнь,
Церковь, где стерлись следы твоих ног,
Забыто лицо из толпы прихожан!

Боже! Сквозь стену огня ты ушел,
В смертную брань, там ли ищешь покой?
Любишь лишь алый клинок заводной,

(Здесь брат и Нина иронически переглянулись, поморщились и едва не прыснули; как можно было всерьез воспринимать такой нелепый стишок в таком неоправданно велиречивом докладе?)

Битвы сумбур, круговерть, адский шум...
Сад плодоносный тобою забыт,
Некому милой рукою собрать
Сада дары и бутоны срывать.

Проблеск случайный в глазах и слезах
Мне, позабытой – что ангельский лик!
Верю я, снова покой обретем,
Если останемся рядом вдвоем,
Снова ты в церковь свой путь возвратишь,

С клироса вновь я увижу лицо...

Верю, что все обернется во благо!
Слышишь?

Слышишь мой голос, бедный, усталый,
Голос – из сил из последних – на свет?

Потом наступили минуты таинственного и увлекательно-го совещания, когда претенденты томятся за дверью, а Евгений Чарский, оживленная и восхищенная Нина, и почти немая вялая третья распределяли места. Споры у них особые, впрочем, едва ли возникали, а основную трудность составляло сугубо записывание правильной последовательности мест. Этот бюрократический акт взяла на себя Нина, обладавшая несколько корявым, но вполне разборчивым и однозначным почерком, в отличие от Жени, через чьи рукописи даже родной брат продирался с большим зрительным напряжением. Потом брат звал всех назад, торжественно выступал, выделял наиболее запомнившиеся моменты различных докладов, коварно тянул время, пользуясь общим нетерпением и желанием поскорее узнать свое место – ему за ответственной должностью позабылись и скука участия в подобных конференциях, и томительное ожидание своей очереди, подсчет времени на чужие доклады, страх, что их затянут, затем стремление поскорее узнать, кому же достанется долгожданный приз. Какие-то благодарственные и слова вроде «Вы все молодцы» довольно оперативно сказала и Нина, и даже третья проямлила забавную фразочку, прежде чем откланяться. Грозной со стуком каблуков походкой в толпе уходящих подбежала к ним стриженная женщина за сорок, в опрятном деловом костюме, таща за руках безвольную подопечную:

– Иди сюда, – сказала женщина. – Так. Объясните мне,

пожалуйста, по каким основаниям вы дали места.

– Извините, вас что-то не устраивает? – хмуро и мягко спросила Нина.

– Вы что, не понимаете, девушка, что она, – женщина ткнула подопечную, – готовилась, у нас самостоятельно подготовленный доклад. У нас самостоятельный доклад, вы это не понимаете, что они все скачали все из интернета.

Брат не вмешивался в женскую перепалку. Нина твердо возразила, двинув своими мрачными бровями:

– Если вас что-то не устраивает, обратитесь к Василисе Еленовне Подпыркиной, нашему куратору.

– Все я понимаю, – угрожающе заявила женщина и потащила ставшую такой неподвижной читательницу своих переводов. – Все я понимаю. Все я понимаю.

– Апелляции не самая приятная часть работы жюри, – рассудительно заметил Женя в коридоре. – Но вы, Нина, молодец, что ее отшили.

– Мне непонятно, чего она. Люди готовились, и как будто она не взяла из интернета...

– Да и награда не настолько уж значительна. Даже грамоты они получают потом. А доклад правда был немножко наркоманский, – не постеснялся отойти от официального дискурса брат. Вспомнилось ли ему тогда подобное, но школьного масштаба мероприятие годовалой давности, когда за верную и добросовестную службу, за энтузиазм, за поездку на другой конец города получил Женя отвратительную награду: по-

ездку домой на заднем сидении маршрутки, напротив нежной юной красавицы в черном пальто, к которой уверенно залез на одной из остановок, сменив ненужную подругу, и постоянно целовал подставленные ему большие вкусные губы худенький симпатичный довольный собой монстр – в первых мартовских весенних отблесках?

– А все-таки мы молодцы, правда?

– Вы отличные вопросы задавали, Нина.

Я опять повалился на кровать и обратился к исходному тексту.

«Отчитались. В. Е. очень хвалила. Волнуюсь, потому что. Выхожу еле-еле. Как можно медленнее покидаю, но покидаю. Сзади, кажется, идет. Идет. Тут оборачиваюсь – ее отрывает какая-то подруга, она не пойдет дальше, ее заволокли. Вниз бежишь уже быстро. Не попрощался. Да и зачем? На последней лестнице Некрулова на перилах туда-сюда ездит залихватски. И закуривает, и рукой машет, и кричит:

– Эге-гей, Тявка! Ты провонял! – и читает вслух в полете: «Какой же я дурак! Дурак! Дурак! Дурак! Абсолютный трусливый тупорылый козел! Вот объясните, зачем надо было полчаса ждать псевдоферзя, чтобы потом не сказать ей „Доброе утро“ (а именно это я ей хотел сказать). И ведь шла она нормально, одна, и ведь вроде и не очень страшно было, и не сказал. Что тут скажешь? Козел! Я!!! Надо было ей улыбнуться и сказать „Доброе утро“. Девушку надо же подготовить, чтобы она от неизбежной новости не была в пол-

ном ауте. А неужели ей было бы неприятно, если бы ей улыбнулись и пожелали хорошего утра? Тысяча подзатыльников себе!»

– Некрулова, – заявляю ей, – отстань, что привязалась, как банный лист?

– Тявка, – многозначительно так Некрулова протягивает. – Ну ты же знаешь, Тявка, что все это закончится слезами, причем твоими? «Но в глазах уже темно. Все чепуха!!! Гонево сплошное – мечты какие-то, думы, что все это не случайно творится. Модернизм чертов постылый. Ну села она на секунду, потому что некуда сесть было, ну смотрела куда-то, ну долго собиралась, даже зная, что за ней все время наблюдает...»

– Некрулова, – говорю, – хватит, нельзя так! Я ей напишу, – и иду к выходу.

– Э-эй, Тявка, предлагаю сразу заранее брать в гардеробе пуховик и шагать, как тогда, зимой, под электричку, у рельс толочься и уходить потому, что плеер забыл, а без музыки умирать не хочешь!

Я к дверям, исчезнуть, выйти из радиуса, где слышен голос Некруловой.

– «Вики этим не добьешься! Редко видны мне ее каштановые волосы. Вика, Вика, люблю я тебя. И все тут. Да блин, надо плюнуть на подругу...» Трусишка Тявка серенький!..

– Сегодня же ей напишу, Некрулова, – твердо на нее огрызаюсь.»

Одно больше прочего тревожит мое воображение: в какой именно из моментов совместного тесного сидения за судейским столом, прикосновения волос, умных и равных речей, скорбных глаз Женя впервые произнес про себя – о Нине: «А эту девушку я мог бы полюбить, и как бы был с ней я счастлив».

Глава 7

Нина ушла, потому что скоро звонок, а перерыв истончается так стремительно. Евгений Чарский продолжил выписывать, перелистывать страницы. Не успел он толком восстановить разорванный библиотечный ритм, теперь уже без пронзительной нотки ожидания, радостного, впрочем – вверху, врасплох ударила дверь, на краю зрения пронеслась в желтизне синевато-зеленая клетчатая рубашка, размахивая бодро руками, быстрее к нему, и губы Нины коснулись виска, «Забыла» шепнули, из кулачка что-то опустилось на бумаги – и унеслось чудо. Евгений Чарский потрясенно сидел, видя перед собой круглую темную шоколадную конфету, висок едва сохранял след внезапного прикосновения. Еще пять минут назад сидела она рядом, рука наполнялась ее прохладной маленькой ладошкой и пальчиками, она улыбочиво пыталась разобрать, что такое сложное и высокоумное читает брат (какой-нибудь чуждый простенькой девице строгий структурализм двадцатых годов), склонялась к неразборчивому почерку. А теперь уже нечего и скучно сидеть, осваивая источники, привычка рвется ответной дрожью нового телефона, брат поднимается зачем-то на этаж выше, там кусочками поглощает горьковатую конфету, пишет неуклюжими пальцами «Спасибо за конфету» и думает, что, может быть, стоило поблагодарить сразу же после мимолетного видения,

а не спустя полчаса.

Если я взялся на основании дневниковых записей, сохранившихся сообщений, из осколков мелькнувшей жизни реконструировать историю гибели злосчастного брата, то двигаю перед собой важнейший вопрос: с чего начать? Как должна выглядеть очаровательная хронологическая непоследовательность событий и сцен? В сущности, скучнейший способ зачинать повествование по-школьному: с того, что Женя вернулся домой, что Нина на сетевое предложение дружества отозвалась не сразу, вечером, даром что посещала свою лилейную страницу раньше, отчего брат с легким разочарованием решил, что она догадалась, подозревает в самом подлом, ему не положенном, что сама идея дружить, разговаривать, что она – Нина! – нравится Евгению Чарскому – должна повергнуть ее в соответствующий ужас и гадливость. Равно Нина могла таить в себе абсурдную ситуацию дружбы без сближения. Института дружбы брат не признавал: если человек не та единственная, что влечет к себе и обещает счастье, то какой смысл поддерживать с ним иные отношения, кроме иерархических, условно-властных либо враждебных? Нарушал порой Женя этот теоретический принцип, но в целом его придерживался даже в отношении единоутробного своего защитника: к чему разговаривать с людьми, если поголовно они гнусны и омерзительны? Увы, пожив несколько дольше брата и повидав за эти годы несколько более, я наблюдаю сугубо подтверждения этой теоретической пред-

посылке – за немногочисленным, но значительным набором исключений.

«Спасибо, с вами было весело сидеть в жюри. Вы правда учитесь за двоих? Тогда это уже садомазохизм.»

«Да, учусь (((. Иногда трудно, но я справляюсь. И вам спасибо, вы очень хорошо вели секцию» – Кто знает, не с такого ли продолжения какого-то неоконченного разговора завязалась доброжелательная и ироничная постоянная переписка. Нина спешила отвечать, а брат дожидался очередного сообщения и убеждался вновь и вновь: оно на месте, нет трудной необходимости писать в молчание еще, расшевеливать собеседницу заведомо безответными вопросами.

Вернемся, однако, к задаче истинного, смещенного построения текста о гибели брата. Что извлечь из дневника вслед за мимолетным поцелуем в висок среди пустынно-знойной майской библиотеки? Ждущий, легкомысленный Женя покидает квартиру, запирает ее длинными худыми руками, зная, что за грязью, за болотной мглой подъезда распахнется скорое и гарантированное блаженство совместного моциона? Представляю его восторженную сутулую фигуру у двери в деревянных рейках, а рядом из квартиры выбирается соседка: толстая гнусная полупьяная, с алкогольно-звериной деменцией баба – выгулять маленькую, похожую на шотландского сеттера пятнистую собачку Полину. Полина беременна от соседского пса Гамлета и малоподвижна, брат, давно ее знающий, чешет ласковой собаке тонкое

со спутанной шерстью черное ухо и черную шелковистую щечку. Полина, натягивая поводок, подпрыгивает, стремясь запачкать его штаны и лизнуть нечистым языком лицо, летает туда-сюда ее короткий хвостик с кисточкой и длинная шерсть на тыльной стороне лап.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.